

# СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

ИГРЫ С  
ХИЩНИКОМ

# Сергей Трофимович Алексеев

## Игры с хищником

*предоставлен издательством «АСТ»*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=184178](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=184178)*

*Игры с хищником: АСТ, АСТ Москва, Харвест; Москва; 2008*

*ISBN 978-5-17-051487-8, 978-5-9713-8495-3,*

### **Аннотация**

Перед уходом в отставку Президент выбирает преемника. Все кандидаты достойны, но не лежит к ним душа. И вот, когда уже почти не осталось времени на сомнения, истинный преемник находится. Но придя к власти, тот забывает обещания, данные человеку, который вручил ему эту власть...

Экс-президент анализирует ситуацию. Он вспоминает деда-чудотворца, охоту за мистическими тайнами власти и бессмертия древних цивилизаций. А таинственные знаки судьбы, разбросанные на его жизненном пути, заставляют искать Истину...

# Содержание

1	4
2	40
3	72
Конец ознакомительного фрагмента.	93

# Сергей Алексеев

## Игры с хищником

### 1

Каждую ночь ему начала сниться дорога, что соединяла Ельню с Образцово.

Это был старый, извилистый проселок, отчего-то грязный во все времена года, с глубокими колеями и лужами, хотя обочины всегда оставались сухими, впрочем, как поля и перелески по обе стороны. Первый раз его пытались обустроить пленные французы. Говорят, они нарубили и навозили много лесу, выстелили лежневку и сверху насыпали песка, после чего долгое время путь между двумя городками называли гатью, хотя она давно сгнила и утонула в мягкой почве. Потом пленные немцы вырыли канавы по обе стороны, навозили гравия и камня, отсыпали и вымостили все семь километров, после чего дорогу стали называть каменкой. По ней любили гулять фабричные девушки, поскольку это теперь было единственное в городе всегда сухое место; взявшись под руки, они выстраивались в шеренгу, а то и две-три, если не было ночной смены, и так шли до Сычиного Гнезда – мельничной плотины на речке Ельне. Там они сидели на травянистом берегу, иногда жгли костры и пели песни,

в общем, тосковали без парней. Но когда в Образцово пригнали из Германии танковую часть, здесь возникло гульбище и гармошки можно было слышать в Ельне. Танцы и пляски устраивали прямо на широкой замощенной плотине, огороженной бревнами, на которых можно было посидеть, а чтоб светло было, костры разжигали или танкисты на своей полуторке фары включали. И хотя саму мельницу сожгли еще перед войной – оставалась только плотина да обгорелые с одной стороны, высокие сухостойные ели, где когда-то была изба мельника, – но все равно слава ходила дурная, мол, нехорошее это место, проклятое, мельничный омут, дескать, не одну жизнь человеческую погубил.

А еще ельнинские старухи пугали, будто где-то в сухих кронах елок живет старый сыч, который бесшумно вылетает ночью из своего гнезда и клюет в макушку простоволосых девок, но которые в платочках, не трогает. Если же какая ему понравится, так он когтями в волосы впивается, поднимает и уносит в свое гнездо, после чего девицы беременеют и, дабы грех скрыть, бросаются в омут. На эти рассказы никто особого внимания не обращал, потому что страшная война затмила прежние страхи и предрассудки, однако все равно фабричные, если надо было отойти со света в темноту, обязательно повязывали косынки, а если вдруг над гульбищем появлялась ночная птица, громко смеялись и хватались за головы.

Как только появились танкисты, на мельницу следом за

девками начали подтягиваться и мальчишки-подлетьши – еще не гулять, а поглазеть, в омуте накупаться до синевы или завести дружбу с фронтовиками в звенящих от медалей гимнастерочках, покурить немецких сигарет, получить в подарок или выменять на что-нибудь суконную пилотку, а если сильно повезет, то и трофейный пистолет на самогонку. Правда, веселое, счастливое это время длилось недолго, всего два лета после войны, потому что пьяный танкист застрелил ельнинского парня-фронтовика – из ревности, прямо на гульбище. А потом начались учения и танки в пыль размолотили мягкий известняк, перемешали его с песком, землей и даже утонувшей французской гатю, и каменка опять превратилась в болотистый проселок.

Вот такая дорога Сергею Борисовичу и снилась. Будто спешит он на мельницу, где уже слышатся голоса и гармошка, и всякий раз неожиданно за поворотом оказывается Рита Жулина – еще молоденькая, красивая, нарядная – и с оглядкой, с вороватым, задорным видом манит его рукой.

– Иди ко мне, Сыч...

Это было его школьное прозвище, уже полузабытое и во сне оживленное Ритой. Он бежал по дороге на зов, но на пути всякий раз оказывался его дед, Федор Аристархович, волосатый и бородатый старик. Отталкивал внука и говорил:

– Это она меня зовет!

Доставал изо рта разжеванный кусок листовенничной серы и подавал ему – на этом месте сон обрывался.

Сергей Борисович жвачку не брал, но когда просыпался, уже наяву ощущал ни с чем не сравнимый сладковато-терпкий вкус смолы, щемящее разочарование и тревогу.

Дедово прозвище пристало к нему благодаря родному дяде, после того как они с мальчишками выкопали неразорвавшийся снаряд на танковом стрельбище и попытались выплавить из него взрывчатку. Насверлили дрелью отверстий, подвесили над костром и подставили ведро: так в Ельне мужики добывали тол, чтоб глушить рыбу на речных ямах. Скоро из снаряда начало капать, но огня не хватило, и его, как самого младшего, отправили за дровами. Он набрал охапку сухих сучьев в лесу и понес к костру. Оставалось метров пятьдесят, когда перед глазами восстал грязный огненный столб и его швырнуло на землю. Самого взрыва он почему-то не услышал, только в ушах зазвенело, и в первый миг, не понимая, что произошло, и не выпуская хвоста, вскочил и помчался вперед, затем пошел шагом и медленно остановился.

Его передернуло от ужаса, на миг онемели руки и ноги, потому крика не получилось. Он увидел лишь небольшую воронку на месте костра, разбросанные по сторонам руки-ноги, тлеющие головни, растянутые по траве кишки и изуродованные туловища. И от всего этого шел пар или дым. Он выпустил ношу и только тогда увидел свою смерть, застрявшую в хвосте, – доньшко от снаряда.

Сыча нашли прибежавшие на взрыв солдаты, свели сначала в санчасть, оттерли кровь из носа и ушей, а потом стали

допрашивать какие-то офицеры. И один, вертя в руках снарядный осколок, часто повторял, что, мол, ты в рубашке родился и боженька тебя любит. Не хворост, так и его кишки разметало бы по стрельбищу. А он молчал, втягивал голову в плечи и только зыркал исподлобья, словно уворачиваясь от ударов.

Для мужского воспитания мать вызвала из Катайска дядю, вернувшегося с войны без обеих ног, и вот он-то определил характер:

– Вылитый Сыч! Ишь, молчит, зыркает и не мигнет даже!

Это было прозвище деда, которого Сергей Борисович помнил плохо из-за того, что тот все время куда-то пропадал, и если приходил, то всегда по ночам, чтоб взять сахару и соли, настрашать бабушку и снова исчезнуть. Был слух, что он когда-то сбежал из ссылки, уже давно скрывается от властей и живет в лесу. В детской памяти остался его необычный, устрашающий, однако притягательный образ: огромная черная борода, совершенно круглые настороженно-проницательные глаза и нечесаная голова с густой желтоватой сединой. Всякий раз, неожиданно появившись среди ночи, дед обязательно приносил гостинец – жвачку из серы. Скорее всего это была засохшая древесная смола, которую дед сначала разжевывал сам, после чего тщательно разминал в руках и уже потом толкал в рот. Бабушка ругалась:

– Что ты даешь-то ему, леший? – и даже пыталась отнять серу. – Всякую гадость принесет и ребенку в рот! Ты на ру-

ки-то свои посмотри!

– Ничего, здоровей будет! – гулко хохотал дед. – Жуй, внучок!

Бабушка всю жизнь проработала фельдшером в больнице, была чистоплотной, боялась всяких микробов и умерла после войны от того, что случайно уколола палец иглой от шприца. А руки у деда и в самом деле всегда были грязными, обросшими до самых ногтей густой шерстью и всегда какими-то скрюченными, словно и впрямь птичьи лапы. Однако при этом они не вызывали брезгливости или отвращения, напротив, казались желанными – возможно, потому, что его лесные гостинцы становились необычайным лакомством. На вид простая сера, которую колупают с лиственниц, но когда ее приносил дед, жевал, мял и заталкивал в рот, она становилась вкуснее и слаще шоколада. Можно было жевать ее бесконечно долго и даже уснуть с серой во рту, чтобы проснуться утром от радости, что она есть и хватит еще до вечера.

Однажды перед самой войной дед почему-то не принес гостинца, а только склонился над ним и потрепал жесткими, как клюв, пальцами за подбородок – это была ласка, от которой стало больно.

– Нету нынче серы, – сказал торопливо. – В другой раз будет.

Он сначала чуть не заплакал, но дед погрозил кривым пальцем.

– Сам наколупаешь, не маленький. Я сейчас пойду бабку

стращать, а ты не подглядывай.

Он не собирался подглядывать, а хотел лишь заступиться за бабушку, если дед станет обижать. Вылез из постели, подкрался к занавеске и замер: Сыч схватил бабушку в свои когти, повалил на кровать, сам же залез сверху и стал ее давить. Пыхтит и давит, а она почему-то не сопротивляется и на помощь не зовет, а лишь стонет жалобно и шепчет:

– Ой, Федор, да когда же ты угомонишься...

От такого зрелища стало страшно и чудно, он залез под одеяло, накрылся с головой, а дед настрашал свою бабку, подхватил заготовленный мешок и улетел.

Она потом наказывала, предупреждала, чтоб молчал и никому не рассказывал про него, но все соседи уже откуда-то знали, что ночью прилетал Сыч, и громко, с удовольствием это обсуждали, а ему почему-то было стыдно.

Потом Сыч куда-то улетел и больше ни разу не появлялся.

И вот дядя поднес ему зеркало.

– Ты деда своего помнишь? Гляди теперь сам. Похож?

Схожести с дедом он тогда не нашел, но увидел, что на лбу лежат чужие, седые волосы. Дядя не стал наказывать племянника ремнем, для чего и был вызван, и матери запретил, мол, когда люди в один момент седеют, значит, сильно переживают. Он подстриг его наголо в надежде, что отрастут волосы прежнего, русого цвета, но когда они отросли и седой чуб остался, дедово прозвище приклеилось само собой – Сыча еще помнили в Ельне. Только сначала звали Сычиком,

видно, потому, что еще был подростком, а уж когда попал в ФЗО и повзрослел, то стал Сычом.

Во сне Рита звала его этим забытым прозвищем...

Когда разбитая каменка приснилась в первый раз, Сергей Борисович проснулся в сильном возбуждении, пометался по спальне, с мыслью немедленно позвонить жене, но вспомнил, что она вместе с дочерью улетела в Германию.

Он был слишком далек от всяческих толкований снов, ибо видел их очень редко и уже много лет жил с ощущением усталости, отчего всегда спал крепко, без сновидений, и где угодно – в машине, в гостиницах, в самолете, на даче или реже в комнате отдыха и столичной квартире. Поэтому никогда и не подозревал, что сны могут волновать, захватывать воображение и притягивать к себе мысли. Он долго лежал в постели под впечатлением и даже пытался разгадать сон: вспоминал, что говорили бабушка и мама, а они иногда по утрам обсуждали приснившееся. Но ничего конкретного вспомнить не мог, если не считать расхожего суждения, что покойники снятся к непогоде: Рита Жулина и дед умерли хоть и в разное время, но уже давно.

А на улице и впрямь моросил холодный и хилый октябрьский дождик. Чуть обвыкнувшись со своим новым, непривычным состоянием, он встал, натянул поверх пижамы теплый халат и в это время случайно увидел себя в зеркале: седые, густые и встрепанные волосы к шестидесяти шести годам начали желтеть, и сейчас, после беспокойного сна, он

и впрямь походил на включенную птицу. А если еще отпустить бороду, то, пожалуй, станет похож на своего страшного и таинственного деда – каким он казался в детстве и теперь снился на дороге...

В это время заглянул начальник охраны, беспокойно поинтересовался о самочувствии и тут же вызвал врача. Охрану у него сменили несколько месяцев назад, впрочем, как и личного доктора, поэтому он не мог быть с ними откровенным и про сон о дороге не сказал ни слова. И только когда врач начал мерить давление, неожиданно для себя спросил:

– А что, похож я на птицу?

– На птицу? – будто бы насторожился тот. – На какую, Сергей Борисович?

– На сыча.

Доктор что-то заподозрил, но сделал вид, будто занят. Конечно, этот никогда не скажет правды и никогда не нарушит инструкции. Сергей Борисович вдруг мстительно подумал, что непременно даст команду убрать его от себя, да вообще из Кремлевки. Отправить в какую-нибудь районную поликлинику!

И тут же пожалел, что Горчакова теперь нет и наказать доктора некому...

Приняв таблетки и оставшись в одиночестве, он снова глянул в зеркало – похож. И особенно в профиль!

В туалетной комнате его ждала Лидия Семеновна, приборы для бритья уже разложены на стерильной салфетке, и

пенистый крем выпущен в фарфоровую мыльницу. Все последние годы так начинался каждый день, и сейчас, хмуро взглянув на приветливую и почему-то не замененную парикмахершу, бриться он отказался.

– Но массаж обязательно, Сергей Борисович, – настоятельно заявила она, подкатывая специальное кресло.

Он нехотя и привычно сел, откинул голову и закрыл глаза. Руки у Лидии Семеновны сегодня почему-то были холодными, но голос, как всегда, теплый. Она приезжала по утрам всего на час, и не только для утреннего туалета, бритья, стрижки и укладки; в обязанности штатной парикмахерши входила задача поднять ему настроение, зарядить на весь день всевозможными энергиями, поэтому под легкомысленным халатиком у нее не было бюстгальтера. Все было продумано до мелочей, и в недалекие прошлые времена это как-то настраивало на бодрый, бравурный лад, и он иногда позволял себе нежно похлопать ее по бедру, но далее дело никогда не шло, ибо все придворные цирюльники были в офицерских погонах. А он хранил верность жене.

– Почему вы сегодня не бреетесь? – бархатным голоском спросила Лидия Семеновна.

– И завтра не буду, – отозвался он, хотя собирался спросить, отчего у нее такие руки.

– Вот как? – рассыпался ее веселый и когда-то располагающий к себе смех. – В таком случае, Сергей Борисович, у вас вырастет борода.

– Хоть какое-то занятие – растить бороду.

У него было сиюминутное желание рассказать свой сон, но ледяные руки, накладывающие горячие салфетки, остудили его.

На следующую ночь ему опять приснилась дорога в Образцово – петлистая, длинная и разбитая вдрызг танковыми гусеницами. Дед опять отнимал Риту и совал жвачку...

И на сей раз он не досмотрел сон, однако проснулся уже с чувством полного опустошения, когда ничего не хочется, даже поправить затекшую от неудобной позы, онемевшую руку.

Подобное состояние он испытал однажды, когда хоронили Баланова. Девяностолетний старец лежал в гробу как живой, с красным от натуги лицом, отчего казалось – сейчас выплюнет из горла неведомую пробку, отдышится, отпыхается и встанет. Правая рука покойного почему-то была сжата в кулак, словно и сейчас он кому-то грозил: «Смотрите у меня! Вот сейчас поднимусь и покажу вам!» Сергей Борисович непроизвольно ждал этого, когда было прощание с телом, потом когда шел за гробом, и лишь на Новодевичьем, когда ударил первый ружейный залп, он вдруг встрепенулся вместе со всеми кладбищенскими воронами, мысленно взлетел и вместо томительного, гнетущего опустошения ощутил в себе какой-то липкий, граничащий с цинизмом, саркастический дух.

Именно в тот миг он вспомнил Ангелину и сакральный,

непостижимый для европейского ума, обычай народа майя – вскармливание предатора. Когда верховный жрец считал, что преемник уже получил достаточное количество фермента, то сжимал кулак и не давал пищи ученикам, но они все равно еще по привычке тянулись к руке, словно отлученные от груди младенцы.

И вот, вспомнив индейцев и свою жизнь в Мексике, Сергей Борисович лишь на похоронах наконец-то определил статус своего покойного покровителя. Официальных должностей, исполняемых обязанностей, в том числе и почетных, в разное время, впрочем, как и прозвищ, у Баланова было множество, но все они никогда не выражали сути его основного и вечного предназначения. И награды, густо осыпавшие бархатные подушки, не выражали заслуг этого краснолицего старца. Чаще всего покойного при жизни называли серым кардиналом, «интерпрайзом», имея в виду непотопляемый авианосец, архитектором, и даже существовало выражение – «попасть под балан», то есть под гнев или расправу этого малозаметного и влиятельного человека, где под баланом подразумевалось бревно.

А он всегда был предатором, тем самым кормящим жрецом и носителем таинственного фермента, способного перестраивать генетическую структуру.

Озаренный этой внезапной и саркастической мыслью, Сергей Борисович там же, на кладбище, начал произволь-но озираться, ибо знал, что предатор не мог уйти в мир мерт-

вых, не оставив после себя обожевсившегося преемника. Но никто из вскормленных жрецов, в том числе и сам наследник, до поры до времени не имел представления, кто из них получил этот фермент верховности. И сейчас, на похоронах, это стало своеобразной игрой – угадать, кто же из его окружения истинный последователь Баланова. Стоявший рядом министр финансов Варламов после третьего залпа неожиданно заплакал, но сдержанно, по-мужски: слезы только на вернулись, заполнили все пространство между прищуренных век, сделав глаза водянистыми, однако ни одна капля не упала. Варламов заметил, что за ним наблюдают, достал платок, деловито высморкался и проворчал:

– Я, как всегда, опять простыну на похоронах...

«Это он!» – в тот миг подумал Сергей Борисович.

Однако Варламов зачихал, пряча лицо в платок, а когда прочихался, глаза оказались совершенно сухими, только нос покраснел.

Нет, не он, ибо предаторы не плачут и не простывают...

И тут взгляд натолкнулся на председателя верхней палаты Суворова, который стоял над могилой, куда опускали гроб, имел скорбный вид, но при этом, как показалось, что-то жевал, словно напоследок успел слизнуть пищу с руки верховного жреца. В это время к нему склонилась престарелая родственница Баланова, что-то спросила, и когда Суворов к ней обернулся, стало видно, что у него просто играют желваки на сухих, впалых щеках – верно, стискивает зубы, показывая

горечь утраты...

Гроб опустили, надо было склониться, взять щепоть земли и бросить в могилу, но он все еще стоял и озирался. Наверное, это было нехорошо, несерьезно и не к месту – стоять у гроба своего покровителя, которому многим обязан, с внутренней, злой ухмылкой разглядывать близких покойному людей, да еще и осуждать их. Но в тот момент он ощутил некий протест, поскольку сам не чувствовал искренней скорби и не видел ее на лицах собравшихся.

И тут внезапно он заметил, что вся похоронная процессия пытливо смотрит на него – одновременно десятка три взглядов скрестились в одну точку.

«А может, это я? – с мрачной усмешкой подумал Сергей Борисович. – Иначе что бы они так глядели?»

– Бросьте землю, – шепотом подсказал генерал Горчаков, стоявший за правым плечом.

Сергей Борисович непроизвольно и резко обернулся на его голос и замер: на роль нового верховного жреца более всего годился начальник службы безопасности! Ибо частенько, не без гордости, сам себя называл последним учеником Баланова. Да и чем-то неуловимо похож: желтоватое, невыразительное лицо, неуловимый, направленный в переносицу взгляд и вечно затаенная, скрытная мысль в глазах.

Покойный при жизни был такой же невзрачный, бледный, словно из него выпили кровь, и раскраснелся лишь после смерти: можно было целый час проговорить, вроде бы при-

смотреться, но потом выйти за порог кабинета и не вспомнить лица...

– Бросьте землю в могилу, – настойчивее повторил генерал. – По обычаю...

Он послушно кинул щепоть песка из подставленной чаши и тихо произнес:

– Бери и помни.

Но Горчаков услышал, склонился к уху и удовлетворенно сказал:

– Вы выиграли, поздравляю.

– Это ты о чем? – спросил Сергей Борисович.

– Но вы же ломали с покойным куриную косточку?

Ответить он не успел, поскольку в это время попросили чашу с песком и генерал понес ее к стоящим у могилы людям.

Словно по команде все присутствующие стали торопливо швырять землю – оказывается, ждали, когда первым бросит Сергей Борисович. А он отступил в сторону и вновь стал рыскать взглядом по разреженной, мельтешащей толпе. Один только глава Администрации Президента, Владимир Сергеевич, не подпадал под подозрение, поскольку был человеком молодым, новым и взирал на похороны с гримасой законченного нигилиста. В остальных можно было найти какие-то знаки, приметы, выдающие предатора, хотя на кладбище были только родственники, приближенные к покойному, либо как-то связанные с ним люди – всего человек сорок,

не считая усиленной охраны.

И примерно столько же потом было на поминках. За исключением родственников Баланова, Сергей Борисович здесь всех давно и хорошо знал, однако крадучись продолжал рассматривать присутствующих и неожиданно находил в них не замеченные ранее черты лица, особенности поведения и привычки. Толстый Варламов, оказывается, очень похож не на Слона, как его за глаза называли, а на Черчилля, особенно в профиль, только сигары и военной фуражки не хватает; у Суворова ничего нет от своего знаменитого однофамильца-полководца – напротив, лицо длинное, с тяжелой нижней челюстью, широкий лоб немного скошен назад, прикрыт жестким волосом, и все время ходят желваки. На роль предатора такой вполне подходил, к тому же был близок к покойному и, по сведениям Горчакова, в последнее время встречался с ним чаще, чем сам Сергей Борисович.

Кормился?..

На языке майя науаль, а если точнее, то на его наречии, употребляемом индейцами оло, таинственный верховный жрец, хранитель Пятого солнца, а вернее, знаний и традиций, назывался «ах кин» или «ах кон»; слово «предатор» считалось аналогом, но из-за содержательной скудости английского не совсем точно отражающим внутренний смысл. Ангелина говорила, что в этом понятии есть не только суть надзирающего или зрящего хищника, но еще и его божественная, сакральная суть, что-то вроде грозного божьего

ока. В Мексике она занималась изучением загадочных традиций, сохранившихся у потомков народа майя, но Сергей Борисович тогда был убежден, что ее научный интерес к коренным жителям Мексики – не что иное, как прикрытие, позволяющее почти свободно разъезжать по всей стране, забираться в глухие уголки сельвы и встречаться с самыми разными людьми – местными политиками, учеными, военными и более всего с индейцами. На самом деле у Баланова, ее родственника и одновременно руководителя, были совсем иные цели, о тонкостях которых по своему, хоть и высокому, положению полномочного посла СССР Сергею Борисовичу знать не полагалось. Он мог только догадываться, что коль индейцы Мексики, а также Перу и Гондураса бьются за свои права, то тут прежде всего политические интересы. Грубо говоря, надо было контролировать и направлять эту борьбу в нужное русло, вовремя подбрасывать правильные идеи, финансы и оружие. Потому что, с другой стороны это же делали американцы. Однако Ангелина была его женой, кое-что рассказывала о своих поездках, встречах и находках, а иногда проговаривалась или размышляла вслух.

Как-то раз они поехали вместе по древним городам майя полуострова Юкатан, посмотреть на чудеса Нового Света, которых здесь хватало. Сергея Борисовича сначала как-то странно поразили созвучия в названиях: существовал город Чичен-Ица и был даже Священный Сенот – глубокий естественный колодец, заполненный водой, куда бросали жертвы

богам – людей, золото и прочие драгоценности. Не зная колеса, не имея прирученных слонов, лошадей и прочей тягловой силы, древние майя как-то умудрялись перетаскивать на значительные расстояния огромные каменные глыбы, как-то обрабатывать их без железных орудий труда и подгонять друг к другу так, что не всунешь лезвие ножа. Они возводили пирамиды, строили стадионы и замечательные дороги, выкладывая их плитами, в том числе и высоко в горах, в совершенстве знали математику, геометрию, астрономию, владели письменностью, искусствами и одновременно приносили в жертву богам своих соплеменников, причем сразу многими тысячами. С этих самых пирамид, где у живых людей вырывали сердца, кровь текла рекой, отрубленные головы насаживали на колья и выставляли на обозрение. А народ тем временем собирался вокруг, пел, плясал и радовался. В общем, жизнь мешалась со смертью, дикость – с высшими знаниями.

И самым таинственным было то, как управлялось подобное общество, поскольку у майя не существовало привычных миру государственных институтов, а уклад жизни чем-то напоминал один большой муравейник, где каждая особь сама по себе ничего не значила и лишь выполняла определенные функции, от сих до сих. И была при этом счастлива безмерно – иначе бы эта цивилизация не существовала.

Сергея Борисовича тогда потрясла не сама технология, как у майя выкармливался предатор, – внезапная откровен-

ность Ангелины и тот факт, что Баланова на самом деле интересуется не борьба индейцев, а государственное устройство, форма и, самое главное, *природа власти* давно сгинувшей цивилизации. И этим же озабочены Соединенные Штаты: американские экспедиции рыскали по всей Мексике, соседним странам и особенно по Юкатану, за свои деньги вели раскопки, проводили дорогостоящие исследования и уникальные экспертизы.

Коммунистам было мало идей коммунистических, капиталистам – капиталистических.

А верховного жреца, ах-кона майя, выкармливали так: когда подходил определенный срок и прежний предатор высматривал на ночном небосклоне особое положение звезд, то собирал в свой уединенный в сельве, тайный монастырь сыновей-первенцев из семей жреческого сословия и два раза в день кормил их со своей руки. Он был для них живым богом на земле, однако пищу при этом готовил сам, соблюдая таинство ее рецепта, а состояла она сначала просто из кукурузной каши с перетертыми зернами какао. Утром равноправные и совершенно обезличенные, как муравьи, но будущие владыки майя становились лицом к восходу и кормили богов своей кровью, прокалывая себе верхнюю плоть половых органов. После чего ах-кона приносил вазу с кашей, черпал ее ладонью, впихивал каждому в рот и заставлял вылизывать руку. На вечерней заре повторялось то же самое, разве что жертва богам теперь источалась из проколотого языка.

Никакой другой пищи ученики не употребляли под страхом смерти и изнеможенные от голода и частых кровопусканий едва передвигали ноги. Смысл их существования сводился к ожиданию, когда явится повелитель и перед устами возникнет горсточка маисовой каши, однако теперь сдобренная свежей, теплой кровью ах-кона: через двадцать лун он начинал выкармливать учеников, как богов, жертвуя им свою собственную жизнь, для чего делал прокол в ребре ладони. И еще двадцать лун, теперь уже не воздавая жертвы богам, они вкушали эту сакральную пищу, еще тщательнее вылизывая руку, отчего заметно поправлялись и обретали силу. Когда же заканчивался и этот срок, а верховный жрец становился немощным и слабым, он все равно питал их своей кровью, однако теперь начинал подмешивать в кашу растолченные зерна ипекакуаны – рвотного средства. После таких завтраков и ужинов учеников выворачивало наизнанку, плоть очищалась и на них нисходили прозрения: они видели будущее на многие сотни лет вперед. Те, кто просто запоминал и мог рассказать, что ожидает народ майя, становились впоследствии оракулами; те же, кто был способен изменить грядущее, например избежать войн, болезней и прочих потрясений, переходили в разряд владычных жрецов.

Но из всей братии монастыря лишь единственный становился полновесным носителем фермента власти – ах-коном. Причем это происходило неким чудесным образом: все ели одну и ту же пищу, вели исключительно одинаковый образ

жизни, однако в определенный момент вдруг начинали ощущать массовое притяжение к одному из учеников, которого по неизвестным мотивам буквально обожествляли, защищали его и безропотно покорялись. У них возникала телепатическая связь с избранником: любая его мысленная команда исполнялась в тот час же и помимо собственной воли, на каком бы расстоянии он ни находился.

К тому времени верховный жрец вместе с шоколадной кашей скармливал им остатки крови и больше не давал пищи, поскольку уже не мог ее приготовить. Единственное, на что хватало сил, – это зажать руку в кулак и ждать смерти, но жаждущие ученики еще долго тянулись к руке и лизали ее, пытались высосать последние капли крови. Когда же ах-кон умирал, вскормленные молодые оракулы и жрецы отрубали ему голову, вздевали на кол, после чего отчленяли кисти рук, стопы ног, варили их и преподносили своему новому предатору, тем самым утверждая его верховенство. Потом они расходились по городам и весям своих земель, принимали там власть, но, кроме них, более ни одна живая душа в народе майя даже не догадывалась, кто из них истинный ах-кон.

Предатор обладал абсолютной властью, но исключительно над теми жрецами и оракулами, с которыми вскармливался.

Ангелина считала, что в прошлом жрецы народа майя отлично разбирались в генетике и знали великую тайну крови. Вскормление предатора было обусловлено редчайшими свойствами человеческого организма, а точнее, уникальной,

по сути, божественной способностью извлекать из крови и усваивать некий особый фермент элитарности, перестраивающий генетическую природу. Дескать, эта общемировая, весьма древняя практика, и поэтому много позже в христианстве, как атавизм, существует традиция – причащаться кровью и плотью Христовой. Но если девяносто девять учеников от этого священнодействия лишь приобщаются к богу, становятся причастными, то есть получают его малую долю, то сотый приобретает целую часть – земную божественную суть и способность творить чудеса.

Гибель цивилизации майя произошла не от мощного землетрясения, не от сокрушительного поражения в войне и даже не от засухи, голода и эпидемий; однажды очередной ахкон утратил этот фермент, не смог выкормить предатора, и майя в тот же час потеряли веру в божественность своих оракулов и жрецов, что и разрушило внутреннюю скрепляющую силу. Еще вчера могучий народ разбрелся, покинув свои дворцы и пирамиды, как иногда разбредаются муравьи, оставляя вполне пригодный для жизни муравейник.

Обряд вскармливания предатора Ангелине поведали ее друзья из племени оло, тайно живущие в недрах сельвы.

Об олонах было известно давно, еще со времен конкисты, но в средние века завоевателей привлекали не знания, традиции и природа власти дикарей, а причина их бессмертия: говорили, будто мужчины-олонны живут по двести пятьдесят – триста лет, поскольку владеют неким эликсиром молодости,

который употребляют всего один раз, в возрасте сорока лет, и потом уже больше не стареют. По велению Папы Римского конкистадоры находили поселения оло, захватывали сосуды с эликсиром и привозили в Европу, однако продлить жизнь с его помощью не смог ни сам Папа, ни его окружение. А плененные бессмертные олоны вообще не могли перенести путешествия через океан и умирали на кораблях.

Вскоре это племя покинуло обжитые земли, скрылось в сельве, и до настоящего времени отыскать индейцев оло никому не удавалось. Поэтому их существование относили к мифам, которых было достаточно вокруг коренного населения Мексики.

Несмотря ни на что, американцы продолжали рыскать по джунглям и собирать любую, даже косвенную информацию о местонахождении неведомого племени и его обычаях. Как это удалось Ангелине, так и осталось загадкой. Обнаруженные ею олоны с их культурой, историей, способностями и возможностями могли бы стать открытием мирового масштаба, однако Ангелина не имела права разглашать доверенные ей сокровенные знания и теперь спрашивала совета – что делать? Писать ли отчет Баланову с подробным изложением сути древней традиции, либо замолчать и обойтись неким правдоподобием?

Ошарашенный столь неожиданной и потрясающей исповедью жены, Сергей Борисович тогда не мог принять определенного решения, обещал подумать, но на четвертый день

после возвращения из Чичен-Ица Ангелина поехала на индейский праздник летнего солнцестояния и назад уже не вернулась.

Было неизвестно, успела ли она отправить отчет своему руководству и нашел ли применение индейским традициям непотопляемый серый кардинал, но после похорон, иногда ощущая приступы сарказма, Сергей Борисович чувствовал себя стареющим предатором, а бывших сподвижников и протеже Баланова, которые достались в наследство, – оракулами и жрецами. Он понимал природу этой тихой, угнетающей ненависти к своему окружению: к концу второго срока он сильно уставал от его назойливого внимания, откровенной угодливости и затаенного под ним вероломства. Пока что они ели с руки, лизали ее и незаметно, не причиняя особой боли, сосали из него кровь. И только ждали мгновения, когда он ослабнет и закроет глаза...

На третий день, вечером, он долго не ложился и сначала часа полтора, до седьмого пота, занимался на тренажере, полагая, что физическая усталость позволит уснуть сразу и без всяких сновидений, затем выпил стакан виски, подождал, когда хмель достанет головы, и не раздеваясь завалился на кровать.

Последнее время он спал одетым, словно в курсантские времена, когда ждут ночной тревоги.

И сразу же перед глазами завертелись знакомые дорож-

ные повороты, под босыми ногами зачавкала жидкая грязь, а впереди, на ветреном взгорке обозначилась фигурка Риты Жулиной...

Сергей Борисович знал, что каменка сейчас в великолепном состоянии, поскольку в первый же год, когда вскоре после присяги приехал на родину, как-то вскользь, мимоходом посожалел, что, видимо, такая уж судьба у этой дороги, символичная и очень русская – быть вечно грязной, ухабистой и семь загибов на версту.

– Сделаем дорогу! – клятвенно заверил тогда губернатор. – Приезжайте через год на открытие!

Сам Сергей Борисович как-то упустил, не предупредил, чтоб ее спрямили, а землякам это в голову не пришло. Клятву они исполнили: подняли насыпь карьерным песком, сделали подушку из щебня, покрыли двумя слоями асфальта по немецкой технологии и зачем-то снесли придорожную деревню Дятлиху, где стояли хоть и старые, пустые, но высокие и красивые дома. А вместо нее устроили склад гравия и насыпали его с избытком, как шахтный террикон. Через речку, у бывшей мельницы, положили железобетонные водопропуски, стальное ограждение и чуть в стороне от старого гульбища соорудили площадку с беседками, скамейками и электрическим светом – то ли стоянка для машин, то ли место для танцев. Губернатор прислал отчет с фотографиями и пригласил на открытие, но в то время резать ленточки было некогда, поэтому новое шоссе он увидел лишь к концу

первого срока.

Каменка теперь выглядела игрушкой, на склонах полотна, за ровным строем полосатых столбиков, даже зеленела подстриженная газонная трава, а посередине тянулась ослепительно белая сплошная полоса. И все это бросалось из стороны в сторону, виляло, крутилось, как и во все времена. Сергей Борисович велел остановить кортеж у мельницы, вышел на асфальт и прогулялся взад-вперед. В беседке какие-то женщины в белом накрывали стол, видимо, дорожное угощение, рядом выстроились девицы в сарафанах и кокошниках – какой-то народный ансамбль, на месте Дятлихи торчали милицейские машины и люди в камуфляже, а на вершине гравийного террикона сидел снайпер. Местный губернатор со своей свитой следовал за ним в пяти шагах, возможно, ждал оценки или даже похвалы, а он тупо смотрел то в одну сторону, то в другую и молчал.

В Ельне извилистость дороги объясняли тем, что будто бы давно-давно, еще задолго до французской гати, здесь впервые проехал на коляске пьяный помещик из Образцово, после чего приказал крепостным ездить не верхней длинной дорогой, а здесь, напрямую. Ослушаться крестьяне не посмели, и вот уже добрых двести лет все ездили, как тот пьяный барин.

Вероятно, губернатор почуял его невеселое настроение, отделился от свиты и пристроился рядом.

– Час обеденный, Сергей Борисович! – заговорил с натя-

нутой бодростью. – Позвольте на правах хозяина пригласить вас к столу!

– Почему дорогу не спрямили? – мрачно спросил он.

– Решили, чтобы уж по традиции, – забормотал губернатор. – Так исторически сложилось... Увековечить хотели. Вы же когда-то ходили по ней, босоногим мальчишкой...

– Извините, я не страдаю от ностальгии! – обрезал его Сергей Борисович. – Хотел, чтоб дорога в Образцово была. И все!

На помощь пришел вице-губернатор, отвечающий за строительство.

– Это не просто дань традиции. Вокруг болотистая местность, старая дорога проходит между торфяников. Чем и объясняется извилистость...

– А пьяный помещик ни при чем?

– Какой... помещик? – слегка опешил губернатор.

В это время народный ансамбль, эти девицы-красавицы с радостными артистичными улыбками вдруг грянули нечто разудалое, причем громко и по-цыгански визгливо. А одна, с блюдом в руках, отделилась и засемила навстречу, но запотевший хрустальный фужер лишь на секунду привлек внимание, ибо в следующий миг Сергей Борисович узнал в ней Антонину! Та же юная, броская от грима, красота, и при этом целомудренно потупленный взор...

– Не может быть, – вслух сказал он.

Генерал Горчаков не расслышал и, склонившись, спросил:

– Что?..

– Поехали! – Сергей Борисович сел в машину и к фужеру с водкой даже не притронулся.

Кортеж опять завилял, сообразуясь с дорогой, перед глазами зарыблили полосатые столбики, а на местных машинах сопровождения зачем-то включили мигалки и сирены, хотя знали, что он не любит этого. Да и встречных машин за все время пути ни одной не попало – дорогу скорее всего перекрыли с обоих концов. Перед глазами по-прежнему стояла девица с блюдом в руках, и теперь, несмотря на ее театральный, сарафанно-кокошный наряд, он уже был уверен, что это и впрямь Антонина. Ведь она тоже когда-то встречала высоких гостей с хлебом-солью, потчевала их рюмкой водки – купеческие ткацкие городки на родине сохранили и соответствующие нравы...

– Ну-ка узнай, как зовут эту девицу, – попросил он генерала.

Тот понял, о ком речь, поправил гарнитуру оперативной связи и повторил его вопрос.

Когда же подъехали к Образцово, то оказалось, это, европейского качества и русского вида, шоссе резко обрывается на его окраине: отстроенного в семидесятых военного городка не существовало. На месте казарм, танкового парка, офицерских домов торчали из буйной травы развалины, каменные фундаменты и терриконы битого кирпича. Уцелела лишь каменная труба кочегарки, на которой развевался

флаг, и еще какие-то люди ковырялись в руинах.

А по правую сторону дороги, где был старинный городок Образцово, насколько хватало глаз, чернели обгорелые остовы деревянных домов или вовсе одни только печи, торчащие на зарастающих травой пепелищах, – хоть кино снимай про войну! Сохранились лишь три церкви вдоль реки, каменные административные здания да несколько пятиэтажек, давно не крашенных, облупленных и по виду нежилых.

Даже не выходя из машины, он мрачно смотрел на эту мерзость запустения и чувствовал, как подступает приступ тяжелого, давящего грудь, неудовольствия. От безмозглости и тупого рвения губернатор построил современную дорогу в никуда! Зачем-то снес почти новый военный городок, а во что превратил купеческое, резное, словно пряник, Образцово? Пусть совсем маленький город, деревянный, но ведь пятьсот лет простоял! И вроде бы еще не так давно люди жили, производство было: ткали брезент, парусину, шили чехлы для военных самолетов и огромные солдатские палатки...

Губернатор же словно почуял его состояние и не высывался из машины, опасаясь угодить под горячую руку. В это время из руин военного городка выскочил приземистый, неуклюжий мужичок и устремился к кортежу. Путь ему преградили рослые камуфлированные люди, выстроившиеся в стенку, словно перед ударом штрафного мяча, но Сергей Борисович открыл дверцу лимузина и велел Горчакову пропустить к нему человека. Стенка рассыпалась, из бурьяна воз-

ник возмущенный маленький старик в пиджачке и кирзовых сапогах.

– Конешно! – издалека закричал он. – Ментов за каждым кустом поставил! Блиско не подойдешь! Да только от народа не отгородишься!.. Это я тебе говорю, землячок!

Говорил беззлобно, весело, и голос был до боли знаком, но на вид человека не узнать! Сергей Борисович шагнул ему навстречу, протянул руку – генерал Горчаков висел за плечом, как ангел. Старик впечатал свою заскорузлую, в ржавчине, ладонь в его руку, крепко пожал, засмеялся:

– А ведь не узнал меня, Борисыч? Ты-то еще все вверх растешь, а я уж утоптался!.. Ну, признал? На одной улице жили!..

И куда-то неопределенно указал левой, с уродливой кистью, рукой, по которой и был узнан в один миг.

– Горохов? – спросил Сергей Борисович. – Дядя Саша?

– Ну, дак, а кто еще! – обрадовался тот. – Гляжу, машины подъезжают! Сразу подумал – ты! А мужики еще спорят, мол, губернатор!.. Говорю им, избирательная кампания, дак сам приехал! Еще на один срок хочет!.. И верно, сам!

Его веселый говорок как-то сразу снял и мрачное неудовольствие, и назревающий гнев.

– Как живешь, дядя Саша? – Он не помнил отчества старика. – Смотрю, ты еще молодец!

– Живу-то ничего. – Горохов наконец-то отпустил руку. – Вот ломом промышляем потихоньку, с сыновьями да внука-

ми. У меня их бригада целая, сам-девятнадцатый.

– Чем промышляешь?

– Ломом, железом всяким! – простодушно сказал старик. – Ох, давно мечтал с тобой вот так встретиться да все рассказать! А тебя нету... Забываешь родину, Борисыч!

– Почему Образцово-то в руинах?

– Ордынцы разбили! За два года, считай, весь город снесли, без артиллерии. Поверженный Берлин, честное слово!

– Это кто же такие – ордынцы?

– Переселенцы, из Орды, – охотно и весело пояснил старик. – Они вроде и русские, но по нраву, дак хуже диких азиатов. Город захватили и давай ломать...

– Кто же их пустил?

Горохов махнул искалеченной рукой в сторону машины губернатора, заговорил доверительным полусшепотом:

– Он и пустил. Дорогу построил, а город ордынцам сдал, будто бы в аренду, ткацкую промышленность поднимать. А оказалось, на разграбление! Они сначала с фабрики станки в чермет сдали, дескать, морально состарились. Потом все железные конструкции разобрали, провода сняли и кабеля из земли выдрали. Пока мы чухались, глядь, ордынцы уже на новых машинах ездят. А когда до кладбища добрались, ограды и кресты поснимали! Тут уж мы не выдержали и отбили себе военный городок. Старые танки-то давно порезали, да ведь железные ангары остались. И цвет попадает, то люминь, то бронза или нержавейка. Недавно мы склад отко-

пали, с боеприпасами...

Сергей Борисович ощущал тихое, звенящее в ушах, отупение, а перед глазами стоял молоденький младший лейтенант в гимнастерочке с орденами и медалями – таким дядя Саша Горохов вернулся с войны. Вся улица ходила на него смотреть, особенно девушки и пацаны – до чего красивым казался тогда этот фронтовичок, и даже изувеченная рука его не портила. У него тогда была невеста – дочка Гавриловых, Васеня, худая, невзрачная девица с визгливым голосом. Васеня дождалась своего героя-жениха, они сыграли свадьбу, и лет через десять стала первой в области матерью-героиней...

Он потряс головой, сгоняя обволакивающую, цепенящую дурь, спросил тоскливо:

– Вы что тут делаете, земляки?

– Говорю же, лом добываем, цветмет всякий. – Старик покосился на Горчакова. – У нас только одних гильз скопилось тонн пятнадцать, из тайного склада. А они дорогу отрезали! Говорят, отдавайте половину, тогда пустим. Выгони ордынцев, Борисыч! Сделай доброе дело для своей родины! Ведь гильзы-то наши, родные!

– Какие гильзы? – беспомощно спросил он и оглянулся на губернаторскую машину.

– Да стреляные! От танковых снарядов, пулеметов! Говорю же, склад откопали, стратегический запас... А, Борисыч? Ведь за тобой должок, между прочим!

– Должок?..

Старик спросил с оглядкой и полусшепотом:

– Кто самогонку у нас... приватизировал? Перед самой свадьбой? У Гавриловых-то? Забыл?

Генерал уловил непроизвольное желание шефа, распахнул дверцу и усадил его в машину. Два охранника тут же перекрыли Горохова, и он теперь пытался выглянуть из-за их могучих торсов – вроде бы еще что-то говорил...

– Проклятое место, – как-то обреченно проронил Сергей Борисович в тишине бронированного автомобиля. – Как ни приеду сюда, так с меня требуют долги.

– Что ему надо? – спросил Горчаков.

– Самогонки.

Начальник охраны взглянул с интересом:

– Простые у вас земляки. Ну совсем простые!.. Что, едем?

Сергей Борисович встряхнул головой:

– Погоди... Долги надо возвращать.

– Какие еще долги?..

– Прошлые, генерал... Пойди к губернатору и возьми у него спиртного.

– Это вы серьезно?..

Сергей Борисович взглянул на него выразительно, и начальник службы безопасности приоткрыл бронированную дверцу.

– Самогонки точно нет.

– Возьми коньяк! Или виски. За самогонку сойдет.

– Бутылку?

– Нет. Канистра была литров на восемь. Они к свадьбе готовились... Тащи целую коробку.

Не задавая больше лишних вопросов, генерал пошел к губернаторскому джипу. Через минуту, удовлетворенный, забрался в машину.

– Сейчас подвезут, – доложил. – А имя этой девушки, с хлебом-солью – Фомина Евгения Дмитриевна, 1978 года рождения, студентка текстильного колледжа, не замужем. Проживает по адресу: город Ельня, улица Гагарина, дом 17, квартира 46. Родители: отец Фомин Дмитрий Анатольевич...

– Не надо, – оборвал его Сергей Борисович. – Это совпадение. Так похожа на Антонину...

В это время подъехала машина сопровождения. Охранники вынули коробку из багажника и ждали приказаний. Сергей Борисович сам взял виски и принес старику, который все еще выглядывал из-за камуфляжных спин.

– Возвращаю, дядя Саша! – И вручил коробку. – Прости, что не вовремя.

Тот виски взял, но сказать ничего не мог – стоял и хлопал глазами, не ожидал такой щедрости. Однако с растерянностью справился быстро – поставил коробку на землю, достал бутылку.

– Вражеская? – спросил со знанием дела. – Пробовал один раз, хреновая, хуже шнапса. Ордынцы любят... Вот дед твой

гнал! Это да!.. Ну так давай выпьем? За встречу?

– Давай! – неожиданно для себя согласился Сергей Борисович. – Генерал, принеси стаканы.

Горчаков вновь побежал к машинам эскорта, а Горохов проводил его взглядом и покачал головой:

– Вот ведь как случилось... Сколько теперь власти у тебя! Генералы бегают.

Начальник службы безопасности вернулся с разовой посудой, поставил стаканчики на коробку и налил виски.

– Прошу!

– Теперь стану рассказывать, как с тобой самогонку пил, – почти счастливо проговорил старик. – Ведь не поверят... Борисыч, ты издай какой-нибудь указ, чтоб ордынцев турнули. Никакого житья от них нет. И размножаются, как саранча! Будто ты для них дорогу строил! Как нам лом-то вывозить? Ты уедешь, они опять возьмут. Под контроль.

– Будь здоров, дядя Саша. – Сергей Борисович сделал глоток и поставил стакан. – Горькая...

– Да вроде ничего, – оценил Горохов. – Но какая у твоего деда была! До сих пор вспоминаем. Белое вино называлось... Ты его пил, нет?

– Не пришлось...

Старик оживился, вдруг схватил его за рукав искалеченной рукой и зашептал:

– Видел, у него на могиле дерево выросло? С плодами! Говорят, от всех болезней помогает. Вот чудо-то! Ученые при-

езжали, на пробу взяли... По мне, так дерево да дерево. Раз-  
ве что цветет весной белым и смола текет...

К ним спешил губернатор.

– Мне пора. – Сергей Борисович отцепил руку старика,  
пожал ее и сел в машину.

То ли от обратной дороги, от этого бесконечного и бес-  
смысленного лавирования, то ли от выпитого виски, у него  
закружилась голова и появилась тошнота. И как бывало в  
минуты легкого недомогания, он не захотел никого видеть и  
приказал сразу же ехать на аэродром, мстительно подумав,  
что непременно при случае накажет губернатора.

## 2

И вот теперь ему уже третью ночь подряд, как только он проводил семью и переехал на дачу, снилась старая, ухаби-стая каменка.

Будто он идет один по осенней слякоти, причем в одной белой рубашке с распушенным галстуком, подвернутыми штанинами и почему-то несет в руках ботинки. В войну, да и потом еще года три, они так и ходили, чтоб побереечь сапоги, и надевали их лишь недалеко от гульбища, у мельницы или на окраине Образцово, если приходилось бегать к матери на маслозавод за обратом. И он помнил, как до боли стынут босые ноги, немеют пальцы и ступни, особенно когда перебредешь большую лаву, и от этого тело прохватывает озноб, стучат зубы и накатываются слезы. Но сейчас он не чувствовал холода, впрочем, как и не испытывал ощущения белесой от известняка, липкой грязи и мутной воды в лужах.

Сон повторялся с точностью до деталей и обрывался всегда одинаково на самом интересном месте: на дороге за поворотом оказывалась Рита Жулина и манила к себе. Он бросался к ней прямо по лужам, испытывая забытый, обжигающий трепет, и вдруг оказывалось, что это не его звали, а де-да...

Кроме опустошения, от сна оставалось еще чувство, будто секунду назад он действительно стоял босым на каменке. По

крайней мере ноги были ледяными, как у покойника.

Уже наяву, заново переживая сон, он жалел, что не досмотрел его, и потому думал: если дорога приснится еще раз, надо попытаться досмотреть. Однако и после третьего повторения не смог продлить сновидения, проснулся внезапно, теперь с сильным сердцебиением, головной болью и тревогой. Показываться доктору в таком виде было нельзя, впрочем, как и объяснить ему, что это состояние вызвано всего лишь сном, поэтому он сразу же вставал, пил таблетки и старался успокоиться. Сейчас он больше всего не хотел оказаться на больничной койке, ибо при одной только мысли о госпитализации сразу же вспоминался Бажан, первый секретарь обкома и Герой Советского Союза, который однажды, будучи вполне здоровым, попал в клинику и вышел оттуда с навязчивой идеей похода на Москву.

Сон становился мучительным, и он все-таки позвонил жене – только чтобы спросить, когда возвращается. В Германию они с дочерью отправились по приглашению жены канцлера, с которой в последние два года Вера Владимировна сдружилась и часто перезванивалась. Поехали всего-то на несколько дней, но оказались в Испании, мол, решили захватить октябрьский бархатный сезон. Сергей Борисович знал, для чего жена чуть ли не каждый месяц вывозит Марину за рубеж – только за последний год они исколесили полмира, добравшись даже до ЮАР, и везде их приглашали жены президентов, премьер-министров и прочих вождей племен.

Как только дочери исполнилось восемнадцать, Вера Владимировна забеспокоилась и замыслила найти ей достойного жениха, о чем однажды проговорилась сама. Тогда он возмутился, начал было ругаться, но неожиданно резко был осажён женой доводом простым и понятным – не нужно совать нос в женские дела.

Сейчас она и не собиралась возвращаться домой, по крайней мере в ближайшую неделю, дескать, планы изменил испанский монарх, предоставив им свою яхту: мол, когда еще доведется провести время на королевском корабле, возможно, намекая таким образом на его теперешнее положение почетного, но никому не нужного пенсионера.

– Можешь оставаться там! – грубо рыкнул Сергей Борисович и, отключив телефон, справился у помощника о составе семьи испанского короля.

На счастье, у того была взрослой только принцесса, а принц был еще малолеткой...

Не дожидаясь грядущей ночи, мягкого снотворного и прочих таблеток, коими его постоянно пичкали, он вызвал начальника охраны и заявил, что через десять минут уезжает в Москву.

Эта дача была слишком памятным местом, и все главные события за два срока произошли здесь, и здесь же он принимал самые важные решения. Ему все время казалось, что в этом доме даже стены помогают, ибо несговорчивые и упрямые зарубежные партнеры, попадая сюда, становились

вдумчивыми, уступчивыми и почему-то слегка напуганными. Дача, отстроенная еще в хрущевские времена как охотничий домик, но со сталинской монументальностью, строгим убранством холлов, комнат и коридоров, напоминала партийное учреждение, однако подобная неброская простота, этот обкомовский стиль всегда нравились Сергею Борисовичу. А когда рядом были жена и дочь, казенное здание и вовсе превращалось в уютный дом и сны, как всякое излишество, вовсе не снились.

От старой обстановки даже была выгода: партийный стиль, аскетичная мебель непроизвольно внушали боязливым зарубежным гостям некий давний, застарелый страх сталинского прошлого, времена «холодной войны». Это отмечали и свои, кто был сюда вхож, поэтому назойливо советовали перестроить загородную резиденцию, заполнить ее соответствующей времени мебелью и интерьерами или вообще подыскать другое место и возвести новую. Сергей Борисович соглашался, обещал подумать и при этом чувствовал некоторое внутреннее противление, продиктованное скорее всего хозяйской, крестьянской рачительностью: само здание было в отличном состоянии, а дубовая, отечественного производства, начинка, от паркета до последнего стула, могла послужить еще лет триста. И пусть повсюду красуются незамысловатые, скромные вензеля с серпом и молотом, вызывающие всяческие подозрения и даже какое-то религиозное раздражение у насмерть политизированных зарубежных го-

стей, – ничего, привыкнут со временем. Не ломать же дом, если он не нравится соседу?

Вопрос со строительством новой дачи был решен неожиданно легко, в одночасье, и одновременно с тем, как Сергей Борисович определился со своим преемником.

А дело это оказалось непростым, поскольку к середине второго срока выявилось несколько достойных претендентов, кандидатуры которых Баланов хоть и одобрил, но право окончательного выбора демократично оставил за ним. И все время поторапливал, видимо, чуял скорый конец.

Первым номером шел председатель верхней палаты со звучной фамилией Суворов, человек Баланова, несколько лет назад вынутый им из небытия якутской алмазной отрасли. Экономист, юрист и геолог в одном лице, быстро вписавшийся в кремлевскую жизнь, по образу своему был романтиком у костра и даже, говорят, писал стихи, а по подобию – жестким прагматиком и мог петь под гитару цифры и проекты законов. Вторым шел министр финансов Варламов, когда-то привезенный в столицу Сергеем Борисовичем из Краснодара. Несмотря на свой вид капиталиста-банкира и прозвище Слон, этот слыл мыслителем, философом, увлекался разведением пчел и был человеком преданным. В кандидатах также значились два политических тяжеловеса, вице-премьер Савостин и заместитель председателя Думы, олигарх Жиравин; оба они прошли через властные структуры, были людьми известными, раскрученными в масс-медиа

и легко из последних могли стать первыми.

Все они по выходным терпеливо ждали приглашения в загородную резиденцию, и если кто-то из них получал такое и приезжал, то очень скоро надоедал как собеседник. По опыту и возрасту они были совершенно разными людьми, каждый отлично знал смысл этих вечерних посиделок, и надо сказать, все пока что вели себя достойно. По крайней мере не проявляли явных глупостей, то есть не уговаривали изменить Конституцию и остаться на третий срок, не возводили поклепов друг на друга и пока не делали промахов и ошибок, понимая, что все это лишь разминка перед большой игрой.

Уже сейчас можно было выделить одного из них, например председателя верхней палаты Суворова, и за оставшиеся два с половиной года постепенно продвигать к власти – правила игры были отработаны еще предшественниками Сергея Борисовича и уже становились традиционными. И сложились они не из чьей-то прихоти, а из-за жесткой необходимости если не исключить, то значительно уменьшить влияние на власть извне. А влиять было кому, от отечественных олигархов и претенциозных политиков до иностранных институтов, излучающих радиацию «непрямых действий».

Защищаться в этих условиях можно было лишь употребив собственную волю и власть.

Но как только он останавливался на ком-либо из кандидатов, в тот же час чувствовал внутреннее противление: его что-то не устраивало и создавалось предощущение, будто он

совершает ошибку. И суть такого протеста состояла не в личных качествах и способностях избранников, не в таком важном деле, как популярность или внешний вид, и даже не в их партийной принадлежности; интуитивная настороженность возникала по причинам совершенно необъяснимым, которую, пожалуй, испытывают засидевшиеся в холостяках женихи при выборе невесты.

Сергей Борисович уже начинал тяготиться этим своим состоянием, но все произошло в один миг, как любовь с первого взгляда. По случаю досрочного спуска на воду и начала ходовых испытаний атомного подводного ракетносца он пригласил к себе генерального директора завода и после часовой беседы вдруг узрел в нем своего преемника. Этот сорокалетний доктор технических наук, ничего, кроме оборонки, не видевший и из-за секретности работы малоизвестный широкому кругу политиков, сразу же лег на душу. В первый момент даже трудно было ответить себе почему: возможно, своей самостоятельностью, как субмарина в автономном плавании, возможно, и тем, что чем-то неуловимо напоминал сына Федора, ибо Сергей Борисович неожиданно испытал к нему отческие чувства.

Да и звали его – Владимир Сергеевич.

Однако наученный собственным опытом, он не поддался первому впечатлению и даже никак не обласкал, если не считать положенного ордена, врученного скромно, без всякой помпы. Сразу же после награждения, под предлогом уточне-

ния данных, оборонщик был приглашен в кадры, где с ним обстоятельно и профессионально побеседовал главный эксперт – генерал Горчаков. И остался доволен встречей, а с первого раза пройти сквозь полосу препятствий ученика самого Баланова, да еще отстреляться «в десятку» на его иезуитском полигоне, удавалось не каждому претенденту даже на министерский портфель. Генерала тогда смутили всего лишь три факта: прожженный технарь самостоятельно изучал Максвелла, что могло говорить об амбициозности, кроме того, у него бегали глазки, возможно, от новых людей и непривычной обстановки. И еще настораживало практически полное отсутствие политического ресурса, которого подобные ученые-производственники не имели, да и иметь не могли из-за секретности своей работы. Однако до выборов оставалось более двух лет, и при хорошем раскладе его можно было наработать, а точнее, «наиграть на экране», намыливая взор телезрителя яркими картинками, а уши – боевыми речами. Комплекс бегающих глаз тем паче быстро излечивался простым тренингом либо привыканием к новому положению, когда исчезнет чувство вдруг свалившейся на голову власти.

После собеседования генерал Горчаков посоветовал сразу же прокатить оборонщика «Баланом», поскольку старец был совсем плох и уже с месяц лежал в клинической больнице. Надежды, что он примет молодого, малоизвестного технаря и уделит хотя бы полчаса времени, не было никакой, но Ба-

ланов ознакомился с краткой справкой на нового кандидата и неожиданно согласился. Его обстоятельно проинструктировали и отправили на смотрины, которые обычно происходили в строго конфиденциальном порядке. Вместо возможного получаса старец проговорил четыре с половиной и даже пообедал с ним, однако потом сам связался с Сергеем Борисовичем и свое заключение сообщил коротко.

– На твое усмотрение, – произнес бесцветно и утомленно. – И не присылай больше никого. Дайте спокойно умереть.

Оборонщик в тот же день отбыл готовить закладку новой подводной лодки, а Сергей Борисович затребовал на него подробную справку и принялся ее изучать. Биография была короткой и простой, как карандаш, – родился в провинциальном городке, потом школа, престижный столичный вуз и оборонный завод; его связи тоже ничем особым не отличались, за рубеж выезжал всего трижды и в составе военно-морских делегаций, откуда возвращался чистым, хотя иноземная пыль густо клубилась вокруг оборонщика, но даже на ботинках не оседала. В кругу друзей и знакомых, чаще всего таких же ученых-технарей и директоров-смежников, тоже ничего криминального, если не считать, что однажды вылетели порыбачить на военном вертолете и по пути незаконно отстреляли северного оленя, которого в тундре же и съели. Жена – конструктор на том же заводе, сын оканчивает кораблестроительный институт, дочь учится в школе, и все иные родственники, чуть ли не до седьмого колена, не имели

ни психических, ни тяжелых патологических заболеваний, и все предки если не погибали в войнах, то умирали от естественной смерти в солидном возрасте. Но самое главное, ни мужская, ни женская линии никогда не пересекались с родословной Сергея Борисовича.

И все равно что-то кровное тянуло к нему. Парикмахерша Лидия Семеновна, иногда потчевавшая его сказками о карме, переселении душ и прочим мистическим ливером, сказала бы, что когда-то в прошлой жизни они были отец и сын...

Он не колебался, но опыт подсказывал немного повременить, прежде чем принять окончательное решение, подумать и подождать некоего тайного знака, который Максвелл называл «милостью судьбы».

И знак этот к нему явился в виде известия о смерти Баланова.

Сергей Борисович знал, что покровитель уже несколько дней пребывает в тяжелом состоянии, не встает с постели, хотя, по докладам Горчакова, пока еще находится в ясном сознании и твердой памяти. Он должен был в какой-то момент сам позвать Сергея Борисовича – сделать последние распоряжения, дать наказы и, наконец, по-житейски проститься, но ничего этого не произошло. Рано утром генерал доложил, что непотопляемый «интерпрайз» в два часа сорок пять минут ночи потерял сознание и, не приходя в него, через четверть часа ушел на дно.

Этого ждали давно и готовились, однако все равно он ис-

пытал вдруг навалившееся на него опустошение. Всю жизнь у него было сложное отношение к Баланову, далеко не родственное и не сыновье, хотя одно время Сергей Борисович являлся его зятем; да и сам покровитель относился к нему не всегда справедливо и чаще всего стремился подавить его волю, прокатиться по нему бревном, чтоб всегда чувствовал направляющую десницу и не делал попыток вырваться из-под нее. Это он сейчас, на пороге смерти, стал великодушным и важные решения оставлял на его усмотрение; еще полгода назад строго спрашивал за любое, не согласованное с ним, назначение не то что министра, а руководителя главка.

Однако при этом за три последних десятилетия никогда не проявлял равнодушия к его судьбе, и, несмотря ни на что, в самый трудный момент было на кого опереться.

И вот этой опоры сейчас не стало. Однако ружейный залп на Новодевичьем вывел его из этого состояния, и Сергей Борисович наконец-то узрел перед собой мертвого предатора – так на английском звучал титул таинственного верховного жреца майя.

Через месяц после похорон, нарушив график поездок, Сергей Борисович вылетел на торжественную закладку новой АПЛ, в сопровождении многочисленной толпы рабочих, адмиралов и инженеров прошелся вдоль стапелей с какими-то символическими металлическими конструкциями, после чего отвел генерального директора в сторону и заявил, что с завтрашнего дня он – глава президентской Админи-

страции. Сказал об этом строго и просто, как говорят отцы с повзрослевшими сыновьями. Владимир Сергеевич был явно не готов к такому обороту, однако соображал мгновенно, конструкторским своим чутьем угадывал, что это значит, и обладал хладнокровием, необходимым человеку, производящему на свет оружие.

На следующий день вышел указ, и все остальные претенденты тот час поняли, что им предстоит долгая, изнурительная борьба, поскольку игра переходит в стадию олимпийской и вместе с новичком включаются несколько другие правила и условия, насыщенные жестким соревновательным духом. Это уже не мирные вечерние посиделки в загородной резиденции, где вполне допускаются восхваление своего соперника, отвлеченные рассуждения по поводу внутренней и внешней политики и даже фантазии на тему будущего развития государства, мировой экономики и геополитики; это старт двухлетнего марафона, где финишная черта в виде кремлевских башен всегда была перед глазами.

Теперь, взирая на внезапно возникшего фаворита, каждый из кандидатов был обязан доказывать свое превосходство над ним и приносить в клюве на посиделки не голые слова, а конкретную пищу для ума и сердца. То есть позволялось бороться между собой всеми разрешенными способами: сражаться, внедряя новые национальные проекты, свежие законотворческие идеи, социальные программы, и это все под знаменами всеобщего катарсиса. Например, мо-

жешь уличить конкурента в нечистоплотности, взяточничестве, коррупции и прочих прегрешениях – уличай на здоровье, от этого только воздух и сама среда станут чище. Копайте, грызите друг друга хоть до смерти, но исключительно по справедливости.

И все скопом, словно голодная волчья стая, кандидаты должны были навалиться на варяга, посаженного на Старой площади. Травить его, рвать клыками и когтями, но так осторожно и бережно, чтоб никто даже не догадался, что на самом деле происходит. На внешнем игровом поле должны существовать покой, мир и благодать – занимайтесь партийным строительством, выступайте в коллективах, проводите товарищеские встречи по теннису и футболу. По правилам олимпийского состязания за всякую утечку информации в прессу, за игру рукой, за применение допинга в виде откровенной лжи и прочие запрещенные приемы претенденты в одно мгновение выводились из соревнований и дисквалифицировались. Например, под предлогом перевода на другую работу или добровольной отставки, поскольку любой удар ниже пояса косвенно попадал не только в фаворита, но и в его покровителя.

А он, фаворит, дабы сохранить свое положение и доказать право избранника, должен был противостоять один целой стае, не оглядываясь на своего посаженного отца, который мог быть лишь судьей, посредником и только в исключительных случаях – ангелом-хранителем, поскольку даже

он не мог предвидеть исхода этой борьбы. Иногда у прежде не очень-то выразительных и вяловатых кандидатов в этих поединках вдруг открывалось второе дыхание, неожиданная ярость, страсть к победе, и задача Сергея Борисовича состояла в том, чтобы вовремя узреть подобные скрытые резервы, оценить их по достоинству и, если надо, наступить на собственные чувства, скрепя сердце отставить своего избранника и публично объявить другого в качестве преемника.

На сей раз этого не произошло. Первым из игры по собственной воле вышел шестидесятилетний Варламов. Для времени стабильности в экономике и обществе он вполне подходил: неторопливый, миролюбивый, как все толстые и сильные люди, неангажированный из-за своего упрямого характера. Но сразу было понятно, что финансисту никогда не быть в фаворе по определению – его тихо ненавидели. Он и в министерстве-то сидел только благодаря воле Сергея Борисовича и его покровительству.

Ко всем прочим качествам Варламов оказался дальновидным и попросту не захотел бодаться с молодыми, рьяными соискателями престола, отлично понимая свое положение. Сам попросился на вечерние посиделки, где и заявил, что готов сейчас же написать прошение об отставке, дескать, устал, хочу на пасеку, ибо пчел люблю с детства. По правилам в такой ситуации он обязан был одобрить выбор Сергея Борисовича и будто бы случайно проговориться на какой-нибудь пресс-конференции, что ему очень нравится новый гла-

ва Администрации, – это стало бы сигналом для мыслящих журналистов. Но Слон никаких реверансов делать не захотел, в чем откровенно признался, однако заметил, что ход с генеральным директором завода очень сильный и заметно освежит застоявшуюся кровь. И, дескать, вместе с тем есть опасность, что оборонщик дорвется до власти, почувствует силу и выйдет из-под всяческого контроля, на который он, Сергей Борисович, вероятно, рассчитывает. Мол, человек, всю сознательную жизнь имевший дело только с оружием, причем сокрушительным, грозным, вряд ли потерпит чужое, даже благопристойное влияние.

Тогда это прозвучало из уст Варламова не как провидческое предупреждение, а как скрытая обида.

После него капитулировал олигарх, и счет сразу же пошел в пользу фаворита: директор оборонного завода когда-то сотрудничал с Жиравиным, получая от него листовой прокат для подводных лодок, много чего знал о нем и удачно своими знаниями воспользовался, искусно, через третьих лиц, сбросив компромат в Счетную палату. В пору дикой приватизации олигарх заполучил контрольный пакет акций крупнейшей металлургической компании страны и теперь вынужден был всю оставшуюся жизнь жить под спудом возможного наказания. И дабы избежать его или как-то оттянуть роковой срок, тесно сотрудничал с властью, денег на государство не жалел, вкладывал в национальные проекты, слыл ярым государственнымником, меценатом, благотворителем. Он имел не

только высокие шансы, но и благословение самого Баланова, который, по сути, и выкормил из него олигарха. Однако при всем том Жиравин отличался грубоватой речью, которая, кстати, нравилась избирателям, был простоватым, что воспринималось за искренность, но знал меру и никогда не опускался до пошлости.

Видимо, по причине этих качеств он сначала даже не понял, откуда прилетело, и стал было тихо шерстить и подставлять своих партнеров, в том числе и зарубежных, поскольку давно вырвался на оперативный простор мирового рынка, прикупив несколько металлургических комбинатов в бывших странах СЭВ и ближнем зарубежье. Но когда разборки приобрели характер бандитских, его публично одернул вице-премьер Савостин: во втором эшелоне были свои поединки. Благоразумный Жиравин, с легкой руки Горчакова получивший кличку Стальной Конь, поднял руки перед главой Администрации, сделал вид, что ничего не случилось, и забил перед ним копытом.

В результате остались председатель верхней палаты Суворов и вице-премьер – кандидаты из разных эшелонов, но из одной команды непотопляемого авианосца. И вот они на пару закружились над головой главы Администрации, как два черных ворона. А поскольку недавно пришедший во властные структуры варяг был ничем еще не замаран, на провокации не поддавался, и если нападали, то стойко и без труда отбивался, Савостин и председатель верхней палаты чаще

схватывались между собой, но уже без особого рвения – так, для виду перья выбивали друг у друга.

Сергей Борисович еще какое-то время посмотрел на эти полеты пощипанных птиц, пригласил вице-премьера на вечерние посиделки и, не дождавшись, когда тот решится признать поражение, предложил ему заняться тем, к чему он и прежде имел отношение, – внешней разведкой. Проигравший кандидат не противился, однако тоже не сдержал обиды, клюнул напоследок, сообщив то, что тихо будоражило всех претендентов с тех самых пор, как появился новый глава Администрации: мол, бродят слухи, что фаворит – его внебрачный сын. Дескать, некоторые находят даже внешнее сходство, а иные и вовсе документальные свидетельства.

В то время Сергей Борисович уже знал, что ноги у этих домыслов растут не без участия самого Савостина. И окажись у него хотя бы одно доказательство, этот козырь бы немедленно разыграли по всем законам средневековой драмы и «мыльной оперы». Можно было представить себе, сколько дней и ночей его бывшие подчиненные из внешней разведки перетрясали архивы, дабы отыскать пусть даже косвенное указание на их родство. Сколько нюхали бумажную пыль, чувствуя при этом аппетитный запах жареного, с кровью, мяса вчерашнего оборонщика!

– Вы же знаете, что это не так? – спросил Сергей Борисович.

– Ну разумеется! – клятвенно заверил тот. – Сплетни, ин-

ситуации. Я же знаю, ваш внебрачный сын ушел от мира.

– Спасибо, вы развеяли мои сомнения.

У вице-премьера шея втянулась в тело и голова чуть только не скатилась с плеч от запоздалого разочарования.

– А у вас... были сомнения?

– Как у всякого мужчины, – по-свойски отозвался он. – В молодости-то кто из нас был святошей?.. Тут еще внешнее сходство.

Этот способ добивания противника назывался просто и со вкусом – ихним салом по мусалам.

После этого на следующих посиделках Сергей Борисович приласкал Суворова и оставил его в качестве игрока на скамейке запасных: во-первых, потому, что смена власти – это событие метафизическое, а значит, непредсказуемое, во-вторых, чтобы создать для журналистов интригу, которая должна разогреть избирателя. Да и фаворита до определенного времени, независимо от своих личных чувств к нему, следовало держать в напряжении, дабы чувствовал жесткую отцовскую руку. По традиции же преемника официально не объявлял, а совершил знаковое действие, посадив его в освободившееся кресло вице-премьера, хотя до выборов оставались считанные месяцы.

Это стало сигналом для кандидатов, выдвигаемых от других партий, соблюдающих правила игры в демократию. Они тот час же стали напрашиваться на посиделки, дабы выторговать себе несколько мест в правительстве, полагая, что пре-

зидент, сложив полномочия, возглавит новую и весьма влиятельную государственную структуру.

И потом уже, перед самыми выборами, в седьмой раз отмеряя, прежде чем отрезать, он неожиданно понял, почему никто из кандидатов, даже ставленник Баланова, Суворов, его не устраивал: все они *ничего ему не предлагали*. Разумеется, кроме роли почетного пенсионера, бесплатного медицинского обслуживания, охраны, госдачи и прочих льгот. Им казалось, что стареющему, на седьмом десятке, утомленному властью человеку и этого будет достаточно. Они даже не подозревали, что такое остаточная энергия, не догадывались, что эта сила способна пустить его жизнь вразнос или вовсе взорвать ее, как взрывается перегретый паровой котел, лишенный полезной нагрузки.

А вот безвестный оборонщик, привыкший иметь дело с оружием и ядерным топливом, приученный анализировать и моделировать ситуации, узрел эту затаенную энергию и оценил ее потенциал.

Впервые он заговорил о Госсовете как о полномочной структуре вскоре после того, как вселился на Старую площадь. Через полгода принес подготовленную концепцию закона, причем подогнанную не конкретно под Сергея Борисовича – для всех последующих экс-президентов. То есть, рассуждая как физик-ядерщик, как типичный технарь, он предлагал не сваливать отходы в опасные для окружающей среды ядерные могильники, а использовать их на благо, извлекать

и пускать в дело эту самую остаточную силу власти. Вероятно, окунувшись с головой в жесткую, но соответствующую демократическим принципам борьбу конкурентов и испытав стресс, Владимир Сергеевич предлагал отказаться от установившейся традиции избрания преемников. Подбор и подготовку кандидатов на высшие должности в стране, если говорить другими словами – воспитание политической и военной элиты, возложить на Госсовет, членами которого и станут искушенные властью, испытанные вниманием и славой, а значит, и независимые личности в государстве.

Это было предложение, от которого отказаться уже было невозможно. И пока закон был в виде одной лишь концептуальной разработки, все казалось просто, разумно и понятно, угадывался даже определенный прорыв в государственном строительстве. По поручению Сергея Борисовича генерал Горчаков со своими подчиненными в срочном порядке уселся писать проект закона, то есть наращивать на голый скелет живую плоть и насыщать ее горячей кровью.

Из-за недостатка времени закон о Госсовете сразу же готовился в двух самостоятельных частях: основной, где прописывались общие положения, задачи, способы взаимодействия с исполнительной властью, права и обязанности; его второй раздел касался технологии работы, регламентировал внутреннюю жизнь и деятельность непосредственно членов Госсовета. К первой части претензий не было, но когда Горчаков пришел, чтобы обсудить и согласовать некоторые мо-

менты секретной части, сквозь суконно-служебный язык документа вдруг прорвались очень знакомые мексиканские, а вернее, майянские мотивы. Основательно переработанные, расплавленные и залитые в другие формы, уже без маисовой каши с кровью ах-кона и каннибальства, но хорошо узнаваемые по ключевым словам.

Правда, жреческое сословие было заменено на элиту, вскармливание стало воспитанием, а предатор превратился в национального лидера.

– Сам сочинил? – не без сарказма спросил Сергей Борисович. – Или помогал кто?

Бледное лицо искушенного в политтехнологиях последователя Баланова не отражало никаких чувств.

– Мы взяли за основу одну из моделей управления, – однако же признался он. – Разработанную еще в восьмидесятых годах, но не реализованную.

Только сейчас, взирая на Горчакова, он неожиданно подумал, что насмешливая, злая игра, начатая им на Новодевичьем кладбище во время похорон, имеет под собой вполне реальную суть. Баланов не мог уйти в мир иной, не оставив после себя преемника, способного так или иначе влиять на власть; но кто этот неведомый верховный жрец, как его имя, остается только догадываться. Возникновение новой независимой структуры, стоящей возле действующего президента, перекрыло бы каналы постороннего влияния либо максимально его ослабило, но в таком виде этот закон, впрочем,

как и сам Госсовет, становился прикрытием, средой обитания самого predators.

А им вполне мог быть Горчаков, ученик Баланова, и тогда это катастрофа...

Сергей Борисович не стал объяснять причин и вынес краткое заключение:

– Не годится.

– Переписывать нет времени, – сдержанно предупредил генерал. – Закон нужно принять до выборов. Мы уже сейчас не укладываемся!

– Пусть принимают основную часть. Внести поправки никогда не поздно.

Горчаков тогда неожиданно быстро согласился, чем отчасти снял с себя подозрения...

Новый закон о Госсовете, вернее, его основа перед выборами была принята Думой и теперь вот уже полгода лежала в Совете Федерации.

Сергей Борисович до поры до времени никого не торопил, да и сам никуда не торопился, будучи уверенным в своем будущем. Он отлично помнил, что такое – *войти во власть*: одних только зарубежных поездок больше десятка за первые полгода, это не считая мотания по стране. Поэтому не тревожил преемника ни визитами, ни звонками, отдыхал после напряженного времени передачи власти и преспокойно ждал, когда примут закон. Однако Владимир Сергеевич, ис-

полненный к нему чувством благодарности, сам звонил довольно часто, спрашивая о здоровье, предлагал съездить и подлечиться где-нибудь в Израиле, пока есть время, и всякий раз повторял, мол, скоро придется впрягаться по полной программе. Сергей Борисович никуда из страны не выезжал, чаще всего подолгу жил на даче, увлекся зимней рыбалкой и изображал перед журналистами счастливого, довольного пенсионера. Идиллическую эту картинку время от времени слегка портил Варламов, временно перемещенный из Министерства финансов в Центробанк, – все просился в отставку, дабы, освободившись от государственных дел, заняться пчелами и созданием некоего Фонда. И чувствовалось, в нем все еще бродит обида, поскольку он скептически относился к новому Госсовету и однажды откровенно признался, что не верит во всю эту затею, ибо окажись он на месте президента, ни за что бы не потерпел всяческих надстроек и пристроек. Молодой же бывший оружейник, ощутив в своих руках власть, и вовсе не захочет держать возле себя каких-то указчиков и корректировщиков, а ход с Госсоветом он придумал для того, чтобы завоевать доверие благодетеля и одновременно сбросить излишнее остаточное давление.

По информации Горчакова, в кулуарах он и вовсе называл новую госструктуру отстойником и паровозным кладбищем.

– Вот погодите! – пригрозил Слон. – Как только посчитает, что стравил пар, даже звонить перестанет.

Первая профессия, полученная Сергеем Борисовичем по-

сле семилетки в ФЗО, называлась «помощник машиниста паровой машины»: суконная фабрика в Ельне была тогда на паровой тяге. Работать по этой специальности ему не пришлось, однако юношеское воображение однажды было поражено мощью и каким-то неотвратимым движением шатунов, вращением колес и маховиков. Потом он видел много самых разных машин, вплоть до генераторов гидроэлектростанций и атомных реакторов, но там вся сила была скрыта от глаз, по крайней мере ничего явно не крутилось и не вызывало восхищения, однажды испытанного при виде небольшого паровичка. Банкир Варламов тоже в юности учился на помощника машиниста паровоза и хотя также никогда не работал на железной дороге, однако в обыденном разговоре у него иногда прорывался старый лексикон, благодаря которому они однажды и сошлись – хорошо понимали друг друга.

– Деньги – это пар, вода, разогретая до газообразного состояния, – объяснял он суть капитализма. – В общем-то сырая, горячая пустота и в принципе ничего не значат. Но если их поместить в замкнутое пространство, то есть в банк, пар создаст давление и сможет двигать поршень или крутить турбину.

Сергей Борисович вытащил его в столицу и после трех лет работы в правительстве сделал министром. Он отлично понимал, что честных банкиров не бывает, но есть профессиональные и порядочные люди. Откровенно сказать, он и сам-то с трудом выносил упрямого и даже какого-то уперто-

го Варламова, одним только присутствием навевавшего зевотную тоску, однако был уверен, что управлять министерством и сидеть возле государственной казны должен именно такой человек. Предыдущий министр, расторопный, веселый и обаятельный, имел слишком много друзей в среде крупного капитала и особенно строительного бизнеса, которые сначала подвели его под монастырь, а впоследствии спасли от суда и тюрьмы.

Оказавшись теперь в аутсайдерах, неугомонный Варламов делал попытку взять реванш. В пику Госсовету вскоре после выборов он придумал Фонд стратегии развития государства и стал его продвигать, пока что в среде отставных политиков и чиновников. Насколько Сергей Борисович понимал, это была неполитическая общественная организация, однако же, по утверждению бывшего финансиста, способная влиять на государственную деятельность, а значит, и корректировать действия президента и правительства. Поскольку Слон был увлечен разведением пчел и завел у себя на даче пасеку, то принципы действия Фонда объяснял теперь не на жаргоне машиниста паровоза, а на основе жизни насекомых. Замысел сразу показался умозрительным и утопическим, поэтому Сергей Борисович толком выслушать его не смог, да и в общем-то не хотел, поскольку Госсовет тогда казался реальностью, обещал подумать и посоветовал Варламову заниматься пока пчелами.

Предсказания Слона скоро начали сбываться – преемник

вдруг перестал звонить. Верить в это поначалу он не мог, мешали те самые отеческие чувства, к тому же прошло сообщение, что вновь избранный отправился в миротворческое турне по странам Ближнего Востока, а посланный в разведку генерал Горчаков доложил, дескать, арабы вкупе с израильтянами его уже достали со своими внутренними неразрешимыми проблемами.

Владимир Сергеевич вернулся с Ближнего Востока, однако не позвонил, не пожаловался, не спросил совета...

И чем дольше длилось его молчание, тем больше вызывало тревогу. Преемник часто приезжал в новую загородную резиденцию, что была в короткий срок отстроена за забором старой, но ни разу не наведался в гости, хотя бы просто поглядеться. Смирив гордыню, можно было встретиться с ним без всякого труда – всего-то открыть калитку во внутреннем заборе, однако не такого дачного свидания хотел он.

И вот уже весной, прогуливаясь утром по парку, Сергей Борисович свернул на дорожку вдоль нового забора, миновал запертую внутреннюю калитку и вдруг услышал на соседней территории голоса, смех и прочий шум, для президентской резиденции нехарактерный и означающий приличное скопление народа. И скорее из простого любопытства не удержался, приподнялся на цыпочки и заглянул сквозь витое наверху сплошной ограды.

Невдалеке, за забором, возле стеклянного зала для приемов собралось человек двадцать веселых и раскрепощенных

гостей: новая метла и мела по-новому – вероятно, преемник принимал у себя молодых, всегда самоуверенных бизнесменов.

Там уже был другой мир, другая свадьба, и Сергей Борисович поймал себя на мысли, что теперь так и будет подсматривать за ней через щелку в заборе...

И еще поймал нарочито отвлеченный взгляд телохранителя, который следовал от него на расстоянии и все видел.

Тогда еще не было никаких оснований сомневаться в своем будущем – закон о Госсовете лежал в Совете Федерации, однако с прогулки он вернулся мрачным и злым, выгнал бывшего министра финансов Варламова, который уже не первый раз доставал разговорами об учреждении Фонда, и заперся у себя в кабинете.

В ушах стоял веселый смех молодых, развязных бизнесменов – словно на вечеринку пришли, а не на прием к первому лицу государства...

В тот момент он впервые подумал, что замышляется примитивное предательство и его хотят попросту кинуть. Но тогда он чувствовал себя еще могучим и способным справиться с любой ситуацией, поэтому кликнул Горчакова и велел пощупать настроения пока что в верхней палате. Старый начальник охраны службу знал и вскоре попытался развеять мрачные предчувствия: новый закон о Госсовете проголосуют буквально на днях, поскольку он сейчас более всего нужен Суворову, чем самому автору идеи. А причина, дескать,

в том, что их отношения крайне обострились и находятся чуть ли не на грани открытой вражды. Закон пройдет через верхнюю палату, а вновь избранный президент вынужден будет подписать его, ибо он и есть инициатор законопроекта.

Оставляя недавнего соперника-фаворита в Совете Федерации, да еще с неприкосновенностью священной коровы, Сергей Борисович на то и рассчитывал. Пока он сам не вернулся в Кремль, облеченный новыми качествами председателя Госсовета, преемнику требовался сдерживающий противовес – в общем-то обычная практика, исключая всевозможные и непредсказуемые действия нового человека во власти. Однако Сергей Борисович выслушал доклад и впервые за много лет совместной работы не поверил генералу, насторожился еще больше и, затаившись, словно сыч на суку, стал ждать развития событий.

Очередным сигналом стало то, что на внутренней калитке поставили еще один кодовый замок и без всяких консультаций и согласования заменили охрану, а начальника службы безопасности Горчакова неожиданно отправили в отставку.

Скоро на дачу явился председатель верхней палаты Суворов и, будучи человеком интеллигентным и даже романтическим, очень мягко и осторожно объяснил, что рассмотрение нового закона о Госсовете отложено на шесть месяцев. Мол, ситуация неподходящая, только что сформировано правительство и вновь избранный президент еще не освоился в новом пространстве, а тут тебе еще одна госструкту-

ра, да с такими полномочиями. Но как только все утрясется, мол, немедленно вернемся к закону...

Суворов еще договорить не успел, но Сергей Борисович понял, что к нему применили запрещенный прием – передернули реверс и мягко, на тормозах, отработывают назад. То есть Варламов оказывался провидцем и с ним еще до окончания полномочий затеяли игру! Подали надежду, чтоб не так больно отозвался на его самолюбии процесс адаптации к положению пенсионера.

Через полгода отложат еще на полгода, а потом о бывшем президенте начнут стремительно забывать, как о прошлогоднем снеге, захваченные надеждами на весенний теплый ветер.

И вместо национального лидера получится смердящий политический труп.

Его остужали, гасили инерцию, как в паровой машине. Он подлежал реабилитации после власти, как после войны.

Выслушав Суворова, Сергей Борисович некоторое время был в тихом, изумленном оцепенении, словно лох, облапошенный наперсточниками. Но это состояние длилось, может быть, минуту, как отлив одной и накат новой волны, а может, и час, ибо душевная пустота не имеет времени. А журналисты уже почуяли поживу и примчались к воротам дачи, от которой только что отъехала машина председателя верхней палаты. И когда ему доложили, что за забором ждут сразу три руководителя телеканалов и несколько главных редак-

торов газет – поздравить с чем-то хотят! – вмиг утратилось самообладание. Ему показалось, что изумление переросло в гнев так стремительно и физически ощутимо, что в мгновение достало горла, и оттуда, словно из чужой плоти, послышался произвольный костяной клеткот.

Все это случилось на глазах у доктора, который наверняка заранее знал о результатах беседы с Суворовым и был начеку. Эскулап, состоящий на службе у двух хозяев, никак не ожидал подобной реакции, не мог объяснить внезапных, пугающих симптомов и дрогнул, засуетился, вызвал подмогу и притащил аэрозоль с кислородной подушкой – верно, подумал, это приступ удушья. Сергей Борисович вышиб ее ногой, словно футбольный мяч, и сквозь клеткот сказал внятно и определенно:

– Пошел ты на!..

Ситуацию разрядила подоспевшая жена, отлично знающая, что в это время происходит с его душой и плотью. Врачу велела убраться, а сама усадила мужа на диван, пригладдила включенные волосы, расстегнула рубашку и положила теплую ладонь на грудь.

– Ну и что ты так вскипел? – спросила обыденно. – Про Суворова я тебе сразу сказала – не верь. Это же человек Баланова.

Сергей Борисович никогда не посвящал Веру в такие тонкости – кто и чей человек и от кого что ждать. Он вообще никогда не хотел обсуждать с женой деловые и государственные

вопросы, дабы уменьшить ее волнения, но сейчас не сдержался.

– Он мне мстит, – умиrotворяясь, проговорил Сергей Борисович. – За Володю...

– Да какая там месть? – отмахнулась она. – Это ты все ходишь и твердишь – Володя, Володя... Ты к нему, как к сыну, а он? Мог бы сам прийти, объяснить. Хотя бы из благодарности! А он прислал Суворова!.. Владимир Сергеевич недостоин твоих чувств...

– Не говори так...

– Ты занимаешься самообманом. Есть только внешнее сходство с Федором. Внешнее, Сережа...

– Разве мало? Это и есть знак судьбы...

Вера упорно приземляла его:

– Это всего лишь мистика, не обольщайся. Давно всем известно: Суворов сразу же спелся с твоим Володей и они теперь дуют в одну дуду. И тебя разводят на пару.

Ее присутствие всегда действовало благотворно, даже в самые критические минуты.

Будучи учителем физкультуры по образованию, Вера Владимировна была тонким психологом, по крайней мере всегда знала, что нужно делать, когда муж в крайней ярости. Средство было много раз проверенным и точным: теплая рука на солнечном сплетении была обязательным предвестником их близости. Это началось давно, с их первой брачной ночи. Он уже был опытным, зрелым мужчиной, а ей едва исполнилось

восемнадцать – по тем временам еще нежный, целомудренный возраст. Сергей Борисович не растерялся, однако, ощутив прекрасное мгновение, хотел продлить его, только не так долго, как просила она. Лишь под утро, когда он начал тихо звереть, так и не прикоснувшись к нему Вера неожиданно положила ладонь на солнечное сплетение. И этого хватило, чтоб он замер, затаил дыхание и стал слушать ее руку. Сухая сначала, она медленно повлажнела, загорелась огнем, и узенькие коготки ее, напоминающие птичьи, начали покалывать кожу, как электрическим током.

В такие мгновения рушились и рассыпались в пыль все остальные чувства. И потом уже если и возникали, то как малый подземный толчок угасающей волны...

– А я думал, кто у нас теперь верховный жрец? – хоть и умиротворенно, однако уверенно проговорил он. – И грешил на Горчакова...

Рука жены замерла, и в солнечном сплетении возник теплый, согревающий источник.

– Ты о чем, Сережа? – настороженно спросила она.

– Это я о хищниках...

### 3

Образ деда остался в памяти с раннего детства и не стирался с годами, напротив, вызывал любопытство, однако все еще жив был в сознании бабушкин наказ молчать про него, кто бы ни спрашивал. Для жизни и карьеры якобы бежавший из ссылки Сыч никаких хлопот не доставлял, про него никто не интересовался, даже когда Сергей Борисович вскоре после военно-политического училища поступил в Совпартшколу при ЦК и проходил строжайшую проверку.

В общем, биографию он не испортил, но вызвал еще более сильный интерес.

И вот когда его назначили председателем облисполкома в родном краю, появились время и возможности хоть что-нибудь узнать про таинственного деда в архивах и отыскать людей, кто его хорошо знал. Через месяц ему уже докладывали, что и документы нашлись, а самое главное, есть несколько человек, в том числе родная мать, которые хорошо помнят деда и все про него знают – не такой уж и тайной была его жизнь.

Оказалось, что Сыч ни в какой ссылке не был, если не считать нескольких арестов, а потом добровольного и совсем не тяжкого заточения на заброшенной водяной мельнице, которых в то время по речке Ельне стояло больше десятка. Бабушка и мама с детства внушили Сергею Борисовичу, что

дед беглый, и велели ничего не рассказывать про него только из-за стыда, который они испытывали перед людьми. По их словам, Федор Аристархович был человеком неуживчивым, вздорным и самолюбивым, поэтому часто ссорился со всеми – с соседями, с родственниками, со своей законной женой, а больше всего с начальством и работниками суконно-валяльной фабрики, где трудился с детства. Его несколько раз брали под стражу и чуть только не посадили: накопит в себе возмущения, придет к директору и кулаком по столу:

– Почему у тебя девкидохнут на фабрике?

Его возьмут, подержат в кутузке и выпустят, потому как из-за деда целые цеха останавливаются. Он работал наладчиком ткацких и валяльных машин, которые были старыми, еще купеческими, постоянно ломались, и починить их мог только Федор Аристархович. К тому же он всегда правым оказывался, поскольку комсомолки-то на фабрике и впрямь болели, чахли и мерли – вредное производство, кислотный пар...

За это ли заступничество или уж по другим, мужскому уму неведомым, причинам Сыча, ко всеобщему удивлению, любили женщины, начиная с молодых девчонок. Они приходили на фабрику по зову комсомола и в течение двух-трех лет начинали хворать от кислоты и едкого пара. Но стране нужно было сукно для шинелей, валенки для солдат и рабочих, фетр для бурок и шляп начальников, кошма для нужд народного хозяйства, поэтому на место больных или умер-

ших присылали новых и все повторялось.

И вот будто Сыч устал гневаться и глядеть, как мокнут и сворачиваются от отека девичьи легкие, взял одну такую, Ефросинью именем, бросил семью, фабрику и ушел жить на мельницу, что была посередине пути между Ельней и Образцово – тогда она еще называлась Дятлихинской, по названию близлежащей деревни.

Будто он деву сначала не трогал, а жили они, как отец и дочь, и питались тем, что выскребали из стен, пола и потолка мучную пыль, набившуюся за столетие, пекли горькие лепешки и ели с рыбой, которую Сыч ловил в речке. Но когда Фрося отдышалась на свежем воздухе, подлечилась немного, то понесла первенца – Никиту. И после родов вовсе поздоровела, даже румянец на щеках появился. Так у Сыча и образовалась новая семья, которую надо было кормить, поэтому он однажды ночью пришел к бабушке, настрашал ее и забрал молодую стельную телку – тогда в Ельне половина населения скот держала. Поскольку старая мука была давно выскреблена, то хлеб он добывал так: посеет зерно на лесных полянках, осенью сожнет, обмолотит, но это только для вида: основная добыча была ворованной с колхозных полей, где он вручную скубал колосья, чтобы незаметно было, да еще закручивал, мял их, чтоб подумали, будто медведь здесь кормился. Мельницу же сломали, когда единоличное житье закончилось, так Сыч отремонтировал ее, новое колесо сделал, жернова выточил из камня, и вот ночью прикатит все

это из леса, установит, наметет муки и снова колесо с жерновами спрячет, чтоб власти не увидели. Милиция же за ним все время наблюдала, хотела поймать на вредительстве да в лагерь отправить, но дед никогда промашек не давал, а если и припрут – заговорит, краснобай, и отбрешется от кого хочешь.

Девушка же Ефросинья, которая будто бы жена ему была невенчанная, на третий год и вовсе раздобрела, кровь с молоком. Видно, наконец разглядела, что живет со зрелым, на пятом десятке, мужиком, и однажды говорит, мол, старей ты для меня, отпусти домой к маме, у меня там где-то жених оставался, дескать, до сих пор ждет. Ей к тому времени только девятнадцать исполнилось. Сыч тут взъярился, сапоги у нее отнял, хорошую юбку, так она босая, в исподнем убежала и Никиту ему оставила, словно и не мать вовсе. Поэтому дед сильно не жалел и печалился не долго, а пошел однажды в Ельню, в общежитие, где работницы фабрики жили, взял другую чахлую комсомолку и привел на Дятлихинскую мельницу.

Тут власти и уцепились – вроде бы насилие, на трех кошевых приехали, чтобы выволить несчастную девушку, а Сыча посадить. А она ни в какую, царапаться стала, кусаться и плевать в них с кровью, потому как у нее легкие совсем плохие были. Постыдили ее, посовестили, но так и не взяли, ибо она взошла на крышу мельницы и сказала:

– Кто ко мне подойдет или Сычу плохо сделает, брошусь

в воду! И смерть моя будет на вашей совести!

Начальство развернулось и уехало. С той поры мельницу возле Дятлихи так и стали называть – Сычиное Гнездо.

А эту комсомолку звали Александра, и была она прислана в Ельню с Севера, из Архангельска. Пожалуй, год Сыч к ней не прикасался, а только лечил, кормил и выхаживал – не так-то просто оказалось поднять ее на ноги. Вроде перестанет кровью харкать и уже по хозяйству начнет помогать, с Никитой возиться и азбукой заниматься, но опять сляжет недели на две и никак не поправляется, кожа и кости.

Дед же лечил девиц одинаково: сенной трухи в кадке напарит, посадит, чтоб только голова торчала, сам разденется, залезет – это чтобы вода не остывала: от него всегда такой жар исходил, что бывало, когда работает, рубахи на плечах и лопатках бурыми становились, ткань подгорала. Потому он и грел воду собой и еще обязательно давал нюхать лиственничную смолу или ветки. А телесную сухоту сгонял через пупок: говорят, давил и мял его до тех пор, пока дурная кровь, скопленная там, не разойдется по организму и не найдет выхода, например через нос или даже уши.

И так каждый день да часа по четыре.

Первую девицу он быстро таким образом вылечил, а с Александрой хватил лиха: бывало, и больше с ней сидел в кадке, воду до кипения разогревал и чуть не сварил ее, худенькое тельце своим грел, но никак толку добиться не мог. Комсомолка-то с севера была, и весь род ее насквозь про-

мороженный: сидит в кипятке, а руки-ноги ледяные. Видела она, как Сыч старается, и уж просить стала, дескать, не мучайся, оставь, у нас во всем роду легкие слабые, уж сколько поживу да умру. Мол, я и так благодарна, что к себе взял, а не дал сдохнуть в ельнинской больнице, куда меня положить хотели. И несколько раз ночью сама приходила, чтобы он взял ее и сделал женщиной, поскольку очень уж обидно было умирать девственницей. Но Сыч все равно не трогал и лишь приголубливал, позволял поспать ей на горячей своей груди и говорил, мол, поднимайся на ноги скорее, так и возьму тебя. Больная, ты и родить не сможешь.

И не отступился, держал в кадке и сам сидел, пока не выздоровела окончательно, хотя весу все равно не набрала.

– У нас порода такая, – объясняла. – Потому что моя бабушка была француженкой, а я вся в нее.

Еще через год Александра родила мальчика, которого называли тоже Александром, и стала у Сыча мельничная семья – сам четвертый. И если первая, выхоженная им и впоследствии сбежавшая Ефросинья не очень-то ему нравилась, а слышно было, сама за Сычом увязалась, дабы от фабрики спастись, то архангельская комсомолка так ему по душе пришлась, что он втайне ею любовался и скоро настолько прирос, что, как мальчишка, стал на руках носить и нежные слова на ухо шептать, которых раньше не знал и своей венчанной жене никогда не говорил.

Поначалу Александра от этого с ума сходила, радовалась,

целовала его, седого и бородатого, смеялась и называла Сычиком. И ребенок для нее был желанный – все два года грудью кормила, и молока было вдосталь, так что и Никитке доставалось, который к тому времени был на пятом году, однако же не стыдился, сосал и мамой называл.

Новая жена хоть и не поправилась, но слегка округлилась и стала такой красавицей, что иногда душу червь сосет и нехорошо делается: ну как и она сбежит? Но при этом Сыч ходил счастливым и никогда не выказывал чувств, да и на людях не появлялся. Бывало, шагает где-нито по проселку, а навстречу кто-то едет или идет, так он сворачивал в сторону и прятался в траве или в лесу, пока не пройдут. И Александре не позволял даже к околице Дятлихи ходить, мол, люди завистливые чужому счастью, сглазят.

И сглазили. Как только Александра отняла от груди сына, почему-то затосковала, веселиться и целовать перестала, в постели отвернется к стене и делает вид, что заснула. Сама же тихонько плачет и слез своих не показывает, а утром встанет, повяжется платочком так, чтобы красных глаз было не видно, и ходит с опущенной головой.

Однажды Сыч и спроси:

– Что, девонька, тяжко тебе в моем гнезде стало?

Она не хитрила никогда, простодушной была и открытой. И говорит, дескать, я дворянского рода по происхождению, когда-то мои предки при царских дворах служили и в чести были высокой. Нельзя мне ронять достоинства и жить

с мужиком-отшельником, да еще старым в придачу. В общем, одыбалась и ту же песенку запела, что первая девица. Но Александру Сыч держать не стал, поскольку любил и терпеть не мог, чтоб она по ночам глаза свои в подушку выплакивала.

– Ступай, – сказал он. – В свою Архангельскую губернию или еще куда, к дворянам. Отпускаю, но сына не отдам, со мной останется.

Она же заплакала навзрыд, схватила Александра, прижала к груди.

– Как же я без сыночка?..

– На что тебе мужиково отродье? Корить станут, надбаванного с суконной фабрики привезла, презирать начнут, что достоинства в комсомоле не сберегла... Подумай, дело говорю. Без ребенка тебе и замуж легче выйти.

Сутки она молчала и только тискала да целовала Сашеньку, не ела, не пила и не спала вовсе. А Сыч за день наработался и не стерпел, задремал далеко за полночь, сидя на разбитом жернове, положенном вместо ступени крыльца. Очнулся от того, что самокрутка самосада истлела и прижгла губы. Глядь, а уже светает, а пред ним Александра стоит, в дорогу собранная – узелок на согнутой руке и алый комсомольский платочек до бровей. На минуту прислонилась к груди, нагрелась в дорогу, затем поклонилась молча в пояс и пошла себе в сторону Ельни, где чугунок была.

Сыч даже не встрепенулся, глазом не моргнул, проводил

только взглядом, бросился в избу, а двухлетний Александр сидит на руках у Никиты и глазенками лупает – ничего еще не понимал. Тут старший сын, что еще недавно грудь сосал, говорит:

– Пойди, батя, в Ельню да приведи другую девку. Нам без женских рук никак нельзя.

Он и сам знал, что нельзя, но никак сразу сердце скрепить не мог и еще долго сидел ночами на жернове, тянул самосад и глядел на тропинку, по которой ушла Александра. Думал, не выдержит разлуки с дитем, вернется в Сычиное Гнездо – не вернулась...

За третьей чахлой девицей и идти не пришлось: должно быть, прослышали, что место освободилось, и послали самую доходную – краше в гроб кладут. Сыч вначале прогнать хотел, дескать, не нужно мне никого, нет сил больше выхаживать, старый уже и дети на руках. Что толку на ноги вас поднимать, если вы потом, как только почувете радость жизни, так и бежите за лучшей долей? Идите в больницу, пусть там лечат.

И прогнал бы, да девица эта, Аккулина, ходить не могла оттого, что уже задыхалась: оказывается, подруги ее ночью на телеге привезли и оставили недалеко от мельницы, дескать, Сыч подберет. Вот и пришлось подобрать, не оставлять же на погибель. Напарит в кадке трухи, разденет комсомолку, посадит, сам заберется, даст смолу нюхать и все Александру вспоминает, какая она была, да такая тоска на-

падет, что вместо жара холод от тела идет.

Аккулина зябнет, трясется.

– Батюшко Сыч, вода-ти остыла...

Он опамятуется, нагреет кадку, аж самому жарко станет, и снова перед глазами северная красавица. Кое-как подлечил, подкормил девку – ходить начала, за ребятами ухаживать, еду готовить – и говорит:

– Иди-ка теперь восвояси, Аккулина. Я сам управлюсь.

– Разве не возьмешь меня в жены? – удивилась она. – Мне сказали, ты пользуешь девок, а потом спишь с ними и от тебя баские робята получают.

Что тут было скрывать? Рассказал он, что с двумя девицами приключилось, мол, в третий раз не желаю, да и старый уже, двоих бы парней на ноги поднять успеть. Аккулина же начала ластиться к нему, хорошие слова говорить, мол, я совсем не такая, и уж если возьмешь, никогда не оставлю тебя и детей любить буду, как своих. Как же ты один с ними справишься, если целый день на тайных делянках землю ковыряешь да рожь сеешь? Ребятишки без присмотра, ну как пожар устроят или власть наедет да заберет в детдом? Я же, дескать, стану по хозяйству робить, дом содержать и любить тебя до самой смерти.

Сыч на своем стоит:

– Был я уже счастливый, не хочу больше. Ступай-ка, девонька, из моего гнезда.

– Сирота я, – со слезами призналась Аккулина. – Некуда

мне идти. Если только обратно на фабрику, в валяльный цех.

Посмотрел он на зареванную и несчастную девицу, пожалел и оставил, но не женой, а чтоб вместо дочери была. Она и на это с радостью согласилась, и месяца, пожалуй, три Сыч горя не знал. Покуда он промышляет кое-чего на запас – где на своих пажитях, где на колхозных, дети у него ухожены и под присмотром, изба прибрана и пускай худенький, но хлебушек испечен, холстины натканы и рубахи пошиты. Сразу видно, сиротой росла, не на кого было надеяться. И стал он похваливать Аккулину, иногда по головке погладит – умница ты моя, да тем и испортил. Однажды проснулся среди ночи, а она у него на груди лежит, греется и тело его ласкает да шепчет при этом:

– Не прогоняй меня, Сыч. Возле тебя и сердцу, и душе радостно и тепло. А как согреюсь, так я уйду, не бойся.

Ему бы сразу выставить ее из Гнезда, но опять пожалел, оставил у себя в постели, но ничего иного себе не позволил и ей запретил. На следующую же ночь Аккулина опять приходит, без всяких ложится рядом, кладет голову на грудь и говорит:

– Мочи нет, как робеночка хочу. Не сделаешь, так найдешь меня в мельничном омуте с жерновом на шее.

Тут уж он не сдержался, вскочил, одел в то, в чем к нему явилась, вывел далеко за мельницу и дал под зад.

– Чтоб духу твоего не было!

Аккулина и ушла. Сыч просидел до восхода на берегу

омута – караулил, чтоб не вернулась и не утопилась: кто знает, что у этой дурочки на уме? И уж было успокоился, но дети утром проснулись и давай Аккулину искать – должно быть, привязаться успели. Никита с раннего детства как взрослый рассуждал, потому и спрашивает:

– Почему ты на ней не женился, батя? И впрямь бы хорошая жена была.

– Дело не твое! – обрезал Сыч. – Мал еще отцу указывать! Тот не смутился на строгость.

– Зря прогнал. Теперь она обиделась и горе принесет.

– Типун тебе на язык!

– Поди и верни, – заявил Никита. – Пока сама не вернулась.

– И не подумаю!

Эх, а ему бы тогда послушать голос младенца, но ведь упрямством славился поперечный Сыч: что не по нраву, тому не бывать.

Аккулина и в самом деле вернулась через неделю – потухшая, блеклая, и опять кашель с дурной мокротой.

– Уж прости меня, батюшко Сыч, – повинулась. – Чуть только на фабрике поработала и опять зачахла.

Александр ее встретил с радостью, поскольку мал еще был, няньки хотелось, материнского внимания, а Никита в сторонке стоит и зверенышем глядит на отца. Что тут делать? Сыч опять трухи наварил, дождался ночи – лечил-то, чтоб дети не видели, на самой мельнице. Раздел Аккулину,

засунул в кадку и сам забрался. Сидеть же долго приходилось, чтоб жар да пар травяной до самых легких, до болезни достали и пользу принесли. И при этом еще горячей смолой надо дышать. Девушка старается, дышит, а Сыч за день подустал – валежник из лесу носил на дрова, да и света на мельнице не зажигали, чтоб повода не давать, вот его и сморило. Показалось, задремал на минуту, но глаза открывает – два фонаря горят и вокруг кадки люди стоят, много – целая комиссия заявила, с милицией. Стоят, глядят на двух голых в кадке, и вроде речь отнялась. Все-таки мельница – дело нечистое, бесовское, а сам Сыч на лешего похож: волосы седые до плеч, борода веником и только глаза горят. Милиционеры и те рты разинули, моргают, переглядываются. Но не всех оторопь взяла: молодая женщина, комсомольский секретарь, прохаживается возле кадки, улыбается почему-то, скрипит кожанкой и хромовыми сапогами, вместо юбки – галифе, похоже, на коне верхом прискакала.

Сыч посмотрел на Аккулину и сразу понял, кто сюда комиссию навел. И от этого вода в кадке закипела, и ошпаренная девушка выскочила на люди в чем мать родила. На нее милиционерскую шинель накинута и в сторонку отвели, а у комиссии сразу голос прорезался. Стала она наперебой обвинять Сыча, что он извращенец и растлитель, ибо не лечит больных девушек, а с голыми комсомолками в бочке сидит, потом в постель тащит и творит непотребное. Кричат, пальцами тычут, кто и совестить принимается, мол, как не стыдно юных

девиц охаживать, кои тебе в дочки годятся?

Одна только районная комсомольская секретарша помалкивает, затаенно улыбается и плетью по сапогу постукивает, словно кавалерист, – должно быть, самая главная тут и еще скажет свое слово.

А комиссия все больше распаляется, судит Сыча трибуналом, дескать, Аккулину обследовали и признаков улучшения здоровья не обнаружили, мол, так и остальных обманул да прогнал потом, оставив себе ребятишек. Поэтому Сычиное Гнездо будет разорено: сам он подлежит аресту с направлением в лагеря, а детей передадут в приют, чтоб вырастить там достойных граждан.

Секретарша одно только слово сказала, но так смачно, будто плетью:

– Шарлатан.

Сыч же сидит в кипящей бочке и только из-под черных бровей зыркает – слово в оправдание сказать не дают. Он эту секретаршу с девок еще знал, когда-то в коммуне «Красный суконщик» состояла, где коммунары жили как скот, стадом. У нее фамилия была какая-то неблагозвучная, так поменяла ее, стала Виктория Маркс, а сама красивая была, тело словно из белой липы точенное. За это ее выбрали и голую по городу на телеге возили с плакатом «Долой стыд!».

Со стыдом комсомольцы так и не справились, коммуну распустили, а девица эта в начальницах оказалась и сама теперь нравам, стыду и поведению учила.

Тут один член, что заведовал в районе борьбой с религией и предрассудками, увидел в кадке кипящую воду и говорит:

– Товарищи, товарищи, минуту внимания! Тут и по моей части есть. Сейчас мы произведем разоблачение. Может ли человек находится в крутом кипятке?

– Не может! – подтвердила комиссия.

– Это значит, в кадке он спрятал насос. Ногой незаметно давит, воздух качает, отчего пузыри идут!

Да и сунул руку в воду. Но вначале не понял или не ожидал, так не сразу-то руку выдернул. А когда заорал, то уже обварился: кисть у него багровая стала и тут же начала раздуваться, как шар. Все забегали в поисках чего-нибудь, хотя бы холодной воды, чтоб не так палило, или помочиться на руку предлагали, мол, помогает при ожогах. Наконец побежали гурьбой с мельницы к омуту, в холодной воде отмачивать.

И осталась одна комсомольская вожачка. Сыч подумал: ну сейчас вынесет приговор! Но она облокотилась на край кадки, осторожно потрогала воду пальчиком, после чего уставилась ему в лицо и улыбается.

– Вот, Сыч, ты и попался, – говорит торжественным полусшепотом. – Долго мы тебя караулили, все никак не могли с поличным взять. На сей раз подвела тебя наша комсомолка.

– Пожалел я Аккулину, – признался он. – А надо было не жалеть...

– Теперь уж поздно! – И ручкой плети бороду ему разгла-

живает и волосы, верно, чтоб глаза открыть да стебануть.

Глаза освободила от волос, еще ближе склонилась и опять с улыбкой и полусшепотом:

– Но я могу все изменить. От лагерей освободить, на мельнице тебя оставить и детей не забирать. И никто никогда не тронет.

Сыч вначале не поверил, какого-нибудь подвоха ожидал, ибо задорные комсомольцы любили над предрассудками дремучими и старыми нравами посмеяться.

– Шутишь, поди? – спросил настороженно.

– Не до шуток мне. – И улыбаться перестала.

– А от меня-то чего за такую услугу?

Виктория Маркс плетъ за голенище засунула, на двери посмотрела.

– Знаешь ведь, я тоже в валяльном цехе работала, – другим голосом заговорила, – на осадке войлока...

– Ну и что?

– Легкими заболела.

– Язык покажи.

Она фонарь поближе поднесла и рот открыла: корень языка и все горло в бурую крапинку, в ноздрях ни единой волосинки – от паров кислоты все сгорело...

– Я у хороших врачей лечилась, – проговорила она. – В столичных клиниках лежала по направлению комсомола. А все равно время от времени мокрота и одышка.

– Да я вижу...

– Слово дашь, что вылечишь? И я стану здоровая, как Александра?

– Ты Александру знаешь?

– И Фросю знаю.

Думать тут некогда было, вот-вот комиссия с улицы завалится, а секретарша хоть и была главная, но таила свою болезнь и желание лечиться.

– Я-то слово дам, но чем ты поклянешься, что потом детей не возьмут и меня не тронут? – спрашивает. – В комсомольское слово я не верю.

– Матерью клянусь, – сказала секретарша и перекрестилась.

– Ох, смотри, девка...

– Жди завтра ночью. – Она выдернула плетень и пошла в двери. – Но если не вылечишь, шарлатан, – сгною!..

– С утра ничего не ешь, – вслед сказал Сыч.

Сам же выскочил из бочки, быстренько оделся, чтоб голым не застучали, сел и стал комиссию ждать. Но комиссия даже на мельницу не зашла, посоветчалась на плотине – бу-бу-бу да бу-бу-бу, лишь милиционер заглянул, кулак показал.

– Ну, Сыч! Последнее тебе предупреждение!

Сели в телеги, Аккулину посадили и ночью же уехали в Ельню. Сыч побежал в избу, откинул батоги от двери – дети спят себе на полатях и лягаются во сне...

К ночи Сыч приготовил кадку, уложил ребятишек и стал

ждать секретаршу. Думал, верхом примчится, раз начальница, а она прибрела пешей, на голове платочек темненький, вместо кожанки и галифе – платье старушечье, узелок на руке. От вчерашней надменной улыбки тоже ничего не осталось – ну прямо послушница монастырская.

Привел на мельницу, поставил и раздеть хотел, но Виктория по рукам ему, дескать, сама. Сыч в тот же миг изорвал в лохмотья ее одежду вместе с исподним, взял за талию и засадил в кадку, так что она и ойкнуть не успела – лишь груди руками прикрыла.

– Неужели стыда не изжила? – ухмыльнулся он. – Титьки-то когда-то всему городу показывала.

– Лечи давай, нечего старое поминать! И руками меня больше не хапай.

– Будешь дичиться – пользоваться не стану, – предупредил и сам заскочил в отвар – только брызги полетели.

Виктория Маркс притихла, но слышно в темноте – зубы чакают и вода в кадке трясется.

– Боишься, что ли? – спросил он.

– Замерзла, – отозвалась дрожащим голоском. – Вода холодная...

Отвар в самом деле был горячим, но все они, в первый раз оказавшись с ним в кадке, начинали дрожать, да не от холода, от того, что души у них давно застыли и их даже в кипятке не сразу отмочишь и прогреешь. А когда душа холодная, легкие слабеют, тепла-то нет. Ведь иные женщины

по двадцать лет работают в валяльном, и ничего им не делается, только здоровеют от тяжелого труда.

Этой сейчас хоть до кипятка воду доведи, еще пуще знобить начнет – знакомое дело. Сыч нащупал ее лицо и стал чистить: глаза отваром промыл, уши, потом пальцами в рот залез, горло достал и там, сколько мог, обмыл – так обыкновенно новорожденных чистят. Затем ее пупок нашел под водой и просто стал гладить, затирает его, ибо чуял там дурную кровь и что тепло через него уходит. Кое-как законопатил сквозняк, секретарша и согрелась, положила голову на его руку и уснула. Часа через три – уж светать начало – вздрогнула, очнулась и опять затряслась.

– Где я? Что со мной?

– В Сычином Гнезде, в кадке паришься, – пробурчал он.

Секретарша окончательно проснулась, услышав его голос, расслабилась.

– Сыч... Мне так хорошо стало.

– Пора вылезать, комсомольцы хватятся. А тебе еще идти далеко...

– Никуда не пойду...

– Как это?

– Я будто в столицу уехала, лечиться по вызову ЦК.

– А попала к шарлатану.

Она ни на мгновение не задумалась.

– Ты и есть шарлатан и распутник. Ведь так не может быть: в бочке поспала с тобой и хорошо стало. Ладно бы с молодым

человеком, а то со стариком.

– Ефросинья с Александрой сначала тоже так говорили. Потом изменили мнение...

– С молодыми девками это бывает. Их совратить-то большой прыти не надо. Ты вот меня попробуй соврати!

– И даже не подумаю! Сдалась ты мне...

– Ничего у тебя не получится. Я комсомолка стойкая и потому секретарь!

– Замужем-то была?

– Была, – говорит она. – Пять раз. Это если не считать, что сначала в коммуне «Красный суконщик» жила, где мужья общие.

– Зовут-то тебя как? По-настоящему?

– Виктория Маркс.

– Это я слышал. А мамка как звала?

– Тебе-то что? Я Виктория.

– Ладно, – согласился Сыч. – Должно быть, детей у тебя много, коль столько раз замуж ходила?

– Раз зачала да скинула... На тебя вот надеюсь.

– Это ты зря, – обреченно сказал он. – Мы договаривались на лечение.

– А ты вылечи! От кого забеременеть, я найду.

И стал ее выхаживать Сыч. Месяц в кадке с ней просидел, другой, а улучшения нет. С девицами легче было, поскольку они хоть и остудились, взялись ледком, но еще корка не толстая и под ней что-то живое булькает. Погреешь, полас-

каешь, бородой пощекочешь, а из нее уж и восторг прыщет, на возраст не смотрят, ибо пелена встает перед глазами, туманится голова. И если дитя родит да женскую свою силу почует, то, считай, лет на полста вперед огня хватит. Эта же секретарша не только проморожена насквозь, но еще от холода иссохлась, ибо нутро вымерзло до пустоты, как осенняя лужа. А поглядеть снаружи да послушать – молодая еще, приятная и умная; не подумаешь, что от женской ее природы ничего не осталось. Про таких говорят – конь с яйцами. Но раз слово дал, надо пользоваться, может, где-то и осталась капля, так если ее немного разбавить своим огнем, глядишь, и оживет.

Других способов лечения Сыч не знал, да и этот сам случайно придумал, когда жена венчанная сильно простудилась и умирать собралась от воспаления легких. Думал, только от этого помогает, а оказалось, все болезни лечить можно.

Виктория Маркс и к сыновьям относилась, как к своим комсомольцам – все построить хотела и чтоб маршировали в ногу. Но дети, они на то и дети, чтоб сердца у взрослых отнимать и играть с ними как захотят. Мало-помалу она к ним привязалась и уже не брезговала соплю вытирать, штанишки постирать, когда у младшего неожиданность случится. Ну и грамоте стала учить – Никите-то уже на следующую зиму в школу надо.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.